

ИСТОРИЯ
воспитания



Кадеты, гардемарины, юнкера

*Мемуары воспитанников военных училищ
XIX века*



ЛомоносовЪ



Annotation

Система военного образования в России начала складываться при Петре I с открытием в Москве в 1701 году Навигацкой школы. Первый армейский кадетский корпус был открыт в Петербурге в 1732 году по указу императрицы Анны Иоанновны. Как писал военный историк А. В. Висковатый, это была «колыбель славы многих героев и знаменитых мужей России». Эти же слова в полной мере применимы к другим российским военно-учебным заведениям.

В этой книге собраны воспоминания воспитанников военных училищ XIX века — периода царствований Александра I, Николая I и Александра II. Включенные в книгу мемуары бывших кадет, гардемарин и юнкеров рисуют картину воспитания и образования будущих офицеров российской армии на фоне важнейших исторических событий. Подавляющее большинство этих воспоминаний рассеяно по страницам периодики позапрошлого века, поэтому малодоступно не только широкому кругу читателей, но и большинству специалистов-историков.

-
- [Кадеты, гардемарины, юнкера. Мемуары воспитанников военных училищ XIX века](#)
 - [От составителя](#)
 - [Н. В. Вохин](#)
 - [Д. Б. Броневский](#)
 - [Н. И. Андреев](#)
 - [И. М. Казаков](#)
 - [К. Зенденгорст](#)
 - [П. М. Дараган](#)
 - [Е. И. Топчиев](#)
 - [Д. И. Завалишин](#)

- [А. И. Зеленой](#)
- [М. Я. Ольшевский](#)
- [А. Н. Корсаков](#)
- [П. П. Карцов](#)
- [В. Г. фон Бооль](#)
- [И. И. Ореус](#)
- [Н. А. Крылов](#)
- [А. М. Миклашевский](#)
- [К. Ф. Кулябка](#)
- [Д. А. Скалон](#)
- [Н. Н. Фирсов](#)
- [Н. Дьяконов \(?\)](#)
- [С. фон Дерфельден](#)
- [Е. К. Андреевский](#)
- [Г. П. Миллер](#)
- [В. С. Кривенко](#)
- [Сведения об авторах](#)
- [Краткие сведения о военно-учебных заведениях](#)
- [Словарь военных терминов, редких и устаревших слов](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)

- [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
-

**Кадеты, гардемарины,
юнкера. Мемуары
воспитанников военных
училищ XIX века**

От составителя

Система военного образования в России начала складываться при Петре I с открытием в Москве в 1701 году Навигацкой школы — первого в стране учебного заведения для подготовки специалистов зарождавшегося в это время военно-морского флота. В 1715 году, при учреждении в Петербурге Академии морской гвардии, Навигацкая школа составила ее первоначальную основу. Впоследствии окончательное объединение этих учебных заведений стало началом истории Морского кадетского корпуса, из стен которого вышли все знаменитые российские адмиралы и флотоводцы.

Впрочем, формально Морской корпус был учрежден только в 1752 году, при Елизавете Петровне, да и сами по себе морские офицеры при своем появлении в России сразу же составили особую категорию военнослужащих. По традиции же, идущей от времени Петра I, хоть какой-то, пусть и самый незначительный, офицерский чин было необходимо иметь любому русскому дворянину — для того чтобы занимать соответствующее положение в обществе. Однако на действительной службе дослужиться даже до первого офицерского чина было не так-то легко.

По воле царя-реформатора, нарушить которую его преемники и преемницы не смели, молодые дворяне сначала должны были последовательно подниматься по всем ступеням «солдатской» лестницы едва ли не в течение десяти лет. Пронырливые родители в послепетровскую эпоху ловко научились обходить это установление, записывая своих отпрысков в полки чуть ли не с рождения. В результате младшие офицеры получались уже к 12–14 годам, а в 20 лет некоторые из

них выходили даже в полковники, ни одного дня не проведя в армии.

Между тем историческая эпоха была такова, что для России не успевала окончиться одна война, как вскоре уже начиналась новая. Потребность в хорошо обученных профессиональных офицерских кадрах неизмеримо возрастала, поэтому стало очевидно, что только солдатская служба прямой дорогой к офицерскому званию оставаться уже не может. Достичь положительного результата можно было лишь в случае организации соответствующих военно-учебных заведений.

Первый армейский кадетский корпус как таковой был открыт в Петербурге в 1732 году по указу императрицы Анны Иоанновны. В него принимали для обучения шляхетских (дворянских) детей от 13 до 18 лет, поэтому вскоре он стал называться Сухопутным шляхетским корпусом, а в 1800 году получил наименование Первого Санкт-Петербургского кадетского корпуса. Кстати, в переводе с французского само слово *cadete* означает «младший», «несовершеннолетний». Так назывались во Франции молодые дворяне, зачисленные на военную службу до производства в офицеры.

В XVIII–XIX веках Сухопутный шляхетский (Первый кадетский) корпус — не просто военно-учебное заведение, но, по словам выпущенного из него военного историка А. В. Висковатого (1804–1858), «колыбель славы многих героев и знаменитых мужей России».

Те же слова применимы, конечно, и к любому другому российскому военному учебному заведению. Не имеет значения, чем именно оно являлось — привилегированным Пажеским корпусом для детей аристократии или, к примеру, Дворянским полком, в котором заканчивали свое военное обучение сыновья бедных мелкопоместных дворян. Из стен любого из

корпусов, сыгравших исключительно важную роль в развитии отечественных общественных отношений, выходили не только офицеры, но и гражданские служащие, нередко достигавшие высших государственных постов, — элита российского общества. Огромное число выпускников военных училищ внесло выдающийся вклад не только в российскую, но и в мировую науку и культуру.

Всего в России в XVIII веке было основано четыре кадетских корпуса, в XIX веке еще двадцать два.

В настоящей антологии впервые предпринята попытка собрать воспоминания воспитанников основных военно-учебных заведений XIX века периода царствований Александра I, Николая I и Александра II, когда российское военное образование окончательно сложилось в стройную систему.

Включенные в книгу мемуары бывших кадет, гардемарин и юнкеров, рисуют достаточно полную картину воспитания и образования будущих офицеров российской армии на фоне важнейших исторических событий. Подавляющее большинство этих воспоминаний рассеяно по страницам периодики позапрошлого века, поэтому малодоступно не только широкому кругу читателей, интересующихся военной историей и военной культурой России, но и большинству специалистов-историков. Как известно, комплекты газет и журналов сохраняются в крайне незначительном количестве экземпляров и только в крупнейших книгохранилищах. Иногда такие печатные издания вообще известны только в единственном экземпляре, что делает их столь же редкими, как и архивные документы, любая утрата которых неизбежно ведет к стиранию исторической памяти. Тексты мемуаров публикуются с некоторыми сокращениями во избежание излишних повторов.

Воспоминания написаны не профессиональными литераторами, поэтому они не всегда гладки по стилю, зачастую непоследовательны и отрывочны. Тем не менее, если процитировать слова выпускника Пажеского корпуса, полковника лейб-гвардии Кирасирского полка Б. Н. Третьякова (1891–1970), — это неподдельно яркие «воспоминания о далеких школьных днях, о днях юности, о днях той молодости, где столько было надежд, которые полны неизменным чувством любви к нашему родному корпусу и благодарной ему памяти. Там ведь прошли эти счастливые годы, самые счастливые дни нашей молодой жизни», со всеми ее радостями и сложностями.

Г. Г. Мартынов

Н. В. Вохин

Из записок

***Второй Санкт-Петербургский
кадетский корпус. 1801-1807 годы***

Ноября 15-го 1807 года мы, кадеты 2-го кадетского корпуса, отэкзаменованные и представленные к производству в офицеры, сидели тихонько или, вернее, дремали после обеда в пустом верхнем классе, куда водили нас в классные часы, чтобы не шалили в ротах. Уже вечерело, как кто-то закричал в полурастворенную дверь из коридора в класс: *Вышли!* Слово это подобно электрической искре потрясло нас. Мы в исступлении вскочили со своих мест и с криком: *Вышли!* — выбежали в коридор, где уже раздавались возгласы: *Вышли! Вышли!* На этот крик выбежали дежурные офицеры и учителя. Узнав причину суматохи, они старались унимать нас, а мы еще громче кричали: *Вышли! Вышли!* Крик этот повторился в классах, и кадеты начали выбегать в коридор, — что и вынудило офицеров и учителей, оставя нас, броситься в классы, чтобы удержать в порядке не выпускных кадет. В числе их находился и младший брат мой Иван.

Опомнясь несколько, почти каждый из нас спрашивал: кто первый закричал: *вышли?* Где приказ? Один из товарищей, не упомню кто, закричав: «Приказ у меня!» — бросился вниз по лестнице. Мы за ним, толкая и опережая друг друга, как бы боясь, что на последнего не будет распространена высочайшая милость. Выбежав на кадетский двор, мы окружили читавшего приказ. Целовали священный нам листок и передавали его из рук в руки. Затем плакали от радости, обнимали один другого и поздравляли с офицерством. Минут

через пять уже никого не было на дворе, все разбежались: кто в роты, кто к родным, кто в квартиры, нанятые по случаю выпуска из корпуса. И я в числе прочих побежал в роту за шапкой, где уже нашел меня брат мой. Мы бросились друг к другу на шею и долго не могли проговорить двух слов. Наконец брат сказал: «Теперь я остаюсь здесь круглым сиротой, но дай Боже тебе счастья!» Я прижал его к моему сердцу, взаимно пожелал ему того же.

Я жил по выпуске из корпуса у доброй моей няни, которая, уступив мне свою кровать с занавесками, перебралась в той же комнате на печь. Старушка потчевала меня на славу, приготавливая ежедневно щи со сметками и гречневую кашу с конопляным маслом. В воскресные же и праздничные дни являлся на моем столе пирог с пшенной кашей. Эти не очень-то гастрономические блюда были объединением после корпусного стола, которым потчевали нас экономы.

До сих пор^[1] я не забыл, с какою завистью смотрели мы, кадеты, на счастливых, пользовавшихся покровительством старшего повара Проньки. Бывало, он присылал нам хороший кусок мяса или лишнюю ложку горячего масла к гречневой каше, составлявшей одно из любимейших кадетских блюд. Ни за что более не ратовали кадеты, как за эту вожаделенную кашу! Случилось однажды, что вместо нее подали нам пироги с гусаками, то есть с легким и печенкой. Весь корпус пришел в волнение, и нетронутые части пирогов полетели, как бы по условию, со всех сторон в генерал-майора В.Ф.М., наблюдателя корпусной экономии. К счастью, пироги были мягки и не так-то допеченные, отчего пирожная мишень осталась неповрежденной. Долго искали зачинщиков детской шалости, но не могли найти, и директор <генерал-майор> Андрей Андреевич Клейнмихель сделал за нее всему корпусу строгий

выговор. Подобные же пирожные баталии бывали в корпусе прежде и после нас, и гречневая крутая каша оставалась каждый раз победительницей пирогов с гусаками.

В то время мы не понимали причины кадетского покровительства каше, но впоследствии причина эта объяснилась мне в *голодном столе*, при котором гречневая каша как блюдо питательное должна была взять первенство над тощими пирогами с ароматною внутренностью давно убитого скота.

С сердечной признательностью вспоминаю имена корпусных начальников моих <...> и всех офицеров, людей отличнейшей нравственности, прямодушных и бескорыстных. Они обращались с нами, кадетами, как добрые отцы. Жестоких наказаний не употребляли, но виновным проступки их не дарили. Разбор производился по субботам, в умывальной комнате, куда приводились для наказания и записанные в классах. Милосердый Спаситель хранил меня от бед во все время пребывания моего в корпусе, продолжавшееся шесть лет. Товарищи любили меня, и начальники были ко мне милостивы.

Г-да учителя в средних и верхних классах были люди почтенные, знающие свой предмет и с любовью передающие его своим ученикам. <...> По математическим наукам я был одним из прилежнейших учеников, а по физике первый и самый доверенный профессора <Василия Владимировича> Петрова. Он посылал меня в физический кабинет за инструментами и прочим, в чем встречалась ему нужда для опытов. Нередко, объясняя предмет, он приказывал мне производить опыты. <...> Я исполнял приказание, и профессор, быв мною доволен, поставлял в пример всему классу и даже по выпуске моем часто вспоминал меня добрым словом. <...>

Мне остается сказать об учителях нижних классов. Они были люди добрые и знающие свой предмет, но

некоторые из них столь бедные и угнетенные семейным положением своим, что позволяли нам, кадетам, наполнять пустые карманы их кусками хлеба, выносимого нами из столовой, мяса, каши и масла в бумажках; последнее, подаваемое к столу в горячем виде, мы обливали квасом и сбивали ложкой до тех пор, пока оно <не> застывало. Из уважения к памяти их, как людей достойных лучшей участи, я не называю их по фамилиям.

При таких преподавателях не могли быть хорошие успехи в науках, да и вообще кадеты нижних классов, особенно же *прапорщики* (название, самопроизвольно присвоенное себе ленивцами, выходящими из Артиллерийского корпуса в армию), учились очень плохо, и прилежных было мало, да и те, увлекаемые примерами «стариков», то есть *прапорщиков*, дремали в классах, читали романы, временем же распевали песенки, переходя из *pianissimo* в *forte* и даже *crescendo*, если в коридоре не было дежурного офицера. <...> Много было у кадет и других шалостей, но всех их не вспомнить и не описать.

Начав очерк жизни моей с выпуска из кадетского корпуса, я должен упомянуть и о поступлении в оный. По кончине родителя моего, <отставного поручика> Василия Федотовича Вохина, последовавшей в 1799 году, <...> оказалось невозможным продолжать домашнее учение мое и брата Ивана, вследствие чего матушка решила отдать нас в кадетский корпус. <...>

В то время было лишь три кадетских корпуса: 1-й, что был Сухопутный, 2-й, Артиллерийский и инженерный, и Морской. Ни в котором из них не было знакомых. Куда ни бросались матушка и дядюшка для определения нас, везде встречали препятствия и думали уже возвратиться в Псков, как однажды посетил дядюшку старый приятель его купец Зубчанинов. Узнав о стеснительном положении нашем, он сказал: «Да

почему вы <...> не обратитесь с просьбою прямо к государю?» Дядюшка и матушка возразили: «Помилуйте, да если к вельможам нет доступа, то как же думать об утруждении просьбой государя?» — «А вот как, — отвечал умный Зубчанинов, — возьмите детей и явитесь с ними к разводу; государь увидит их и примет». Долго спорили и наконец решились испытать счастье. <...>

25 июля 1801 года <...> лишь только мы вышли из кареты, подъехавшей к дворцовому экзерциргаузу, как увидели едущих туда из Зимнего дворца нескольких генералов. Впереди других находился князь Ливен. Дядюшка смело подошел к нему и доложил, что он привез двух сирот, псковских дворян, и желает утрудить государя императора просьбой об определении в корпус. Князь Ливен, окинув нас глазами, сказал: «Хорошо! Дайте мне детей, — а нам: — Ступайте, дети, за мною». Мы не шли, а бежали за ним. Обратясь к одному из адъютантов, он приказал поставить нас на левый фланг имевших счастье представляться государю. Когда же император подошел к нам, то князь Ливен доложил: «Два псковских дворянина желают иметь счастье служить Вашему Величеству».

Государь Александр Павлович, с улыбкою посмотрев на нас, изволил сказать: «Очень рад! Но куда же нам определить их?» — шутя, спросил государь князя Ливена. Он отвечал: «По росту — в кавалергарды, Ваше Величество». — «А по силам, — возразил государь, — в артиллерию, — добавя: — Этот молодец, — указывая на брата Ивана, — один повернет пушку». Потом, обратясь к нам, изволил спросить: «Умеете ли вы ездить верхом?» Мы отвечали: «Не умеем». Государь добавил: «Если не умеете, так надобно учиться, и для этого я определяю вас в корпус». <...> Едва изволил отойти государь, как подошел к нам адъютант и сказал:

«Пойдемте, дети, со мною. Государю угодно, чтобы я свез вас в корпус». <...> Радость матушки была неизъяснима, она то плакала, то смеялась, целовала нас, обнимала дядюшку, благодарила его, молилась Богу — словом, была вне себя от восхищения. <...>

Корпусное образование наше началось с практики, а не с теории, то есть мы узнали от кадет, что такое *кукунька*, *пырье масло*, *волос-крикун* и т. п. Для не проходивших курс этих наук объясняю. Учитель <старший кадет> подходил к новичку и спрашивал: «Знаете ли вы, что такое *кукунька*?» Новичок отвечал: «Не знаю». — «Хотите ли вы, чтобы я показал ее вам?» — «Хочу!» С этим словом учитель, приставя первый сустав указательного пальца к голове ученика, сильно ударял его вторым суставом того же пальца в голову, приговаривая: «Вот вам *кукунька*, хороша ли?» Если ученик благодарил учителя за науку кулаком, его называли: молодец! Если же ученик плакал, на него кричали со всех сторон: «Баба! баба!» Буде же кто из новичков жаловался начальникам, то ему не было житья от товарищей, все обижали его, чем кто мог. *Пырье масло* означало сильный натиск средним пальцем от верхней части лба к затылку. *Волос* же *крикун*, от которого, по уверению кадет, слабеет память, находился не у всех. Его надлежало отыскивать над виском, и если находили (в чем не было и сомнения, потому что за дело принимались мастера), то кричали: «Нашли! Нашли!» — и с этим вместе спрашивали новичка: «Хочешь ли видеть *волос-крикун*?» Бедняк отвечал: «Хочу», — тогда защемляли один волос в ногтях большого и указательного пальцев и с силою вырывали его. Еще не было такого молодца, который бы не закричал, увидя *волос-крикун*! Много подобных проделок предстояло каждому новичку. При этом, однако ж, наблюдалась справедливость, состоящая в том, чтобы маленькие кадеты обучали маленьких

новичков, средние — средних и большие — больших. Нарушителей этого правила наказывали всею камерой, и иногда им жутко доставалось.

Вскоре по прибытии нашем в корпус один кадет, нелюбимый, к счастью нашему, товарищами, подошел к брату моему и спросил у него: «Есть ли у вас *пырье масла?*» Брат, не зная, о каком он спрашивает масле, ответил: «У меня нет масла». — «Хотите ли, я дам его, оно прекрасное, душистое?» Брат отвечал: «Дайте». В эту минуту кадет со всей силой произвел над ним описанную операцию. Брат, не ожидая ее, громко закричал. На этот крик я прибежал из смежной камеры и, видя, что брат дерется с кадетом неравных сил, бросился ему на помощь, и оба мы, новички, отличились, приколотив раздавателя *пырьевого масла*. Свидетели драки нашей, кадеты поощряли нас криками: «Бейте его, валяйте! Вот так-то! Ай, молодцы!» — и т. п. Мы вполне заслужили это одобрение тем, что действовали энергично, что понравилось кадетам. С этой поры мы, однако ж, сделались осторожнее и уже не соглашались принимать даровую прислугу товарищей, но за всем тем не избегли общей участи новичков, то есть кадетской выучки уму-разуму. Хотя и горька была выучка эта, мы не жаловались, и нас перестали обижать. Мы нашли между кадетами даже покровителей, которые вступались за нас, ссорились с другими и дрались, если они обижали нас. <...>

Важнейшие события по 2-му кадетскому корпусу в мое время, с 1801 по 1807 год включительно, были:

1) Парад в столетие Петербурга. Мы, кадеты, стояли под ружьем у монумента Петра Великого;

2) Кончина директора корпуса графа Валериана Александровича Зубова и назначение директором генерал-майора А. А. Клейнмихеля;

3) Назначение Его Императорского Высочества цесаревича и великого князя Константина Павловича

главным начальником нашего корпуса. С этим вместе он принял воинственный вид: у нас введены были разводы, караулы, парады и общие ученья с кадетами 1-го корпуса, которым издавна начальствовал Его Высочество. <...> В это же время по приказанию Его Императорского Высочества отменили у нас танцевальный класс, производимый в послеобеденное время среды, и что очень утешило нас, кадет, — это улучшение пищи, за что мы были очень благодарны Его Высочеству, всегда ласковому и вполне милостивому к нам, кадетам.

Я заключаю рассказ мой о пребывании в корпусе добавлением, что в числе кадет был у меня друг П.М.З., которого любил я не менее брата моего Ивана. Одному З. открыта была душа моя, даже более, нежели брату, потому что он казался ребенком между нами, находился в другой роте от нас по классам...

*Записки генерал-майора Николая Васильевича
Вохина // Русская старина. 1891. Т. 69. Кн. 3. С. 547-560.*

Д. Б. Броневский
Из воспоминаний
Морской кадетский корпус. 1804-1811 годы

Давно задумывал я описать для детей моих важнейшие события моей жизни; но недосуга, иногда лень, препятствовали мне исполнить мое сердечное желание. Начинаю рассказ мой о былом, и да поможет мне Господь быть полезным моим милым детям. <...>

Я родился 1794 года января 29-го в имении матери моей сельце Остахове Тульской губернии Белевского уезда. <...> В <1804> году брат Михаил Богданович приезжал в отпуск и взял меня с собой в Петербург для определения в Морской корпус, куда за год передо мной поступил брат Александр и находился уже брат Алексей. <...>

Просьба была подана, но до открытия вакансии должно было ожидать лета, и вот начались мои странствования. Зиму прожил я у брата Владимира, 18-летнего мичмана, который заботился обо мне, сколько может то сделать такой молодой человек. Я учился у него арифметике, и, кажется, усердно, потому что мной довольны были по поступлении в корпус. <...> В исходе лета я поступил в Морской корпус в 4-ю роту, которая жила в первом этаже на набережную. Там я нашел брата Алексея, произведенного в гардемарины, и брата Александра. Ротный командир был майор Петр Данилович Мамаев <...>.

В мое пребывание в Морском корпусе строевой службы не было; правда, что маршировали, но учителем у нас был танцмейстер де Роси. Можно представить себе, что это за маршировка была! Что некогда

существовало фронтовое образование в Морском корпусе, то на это было доказательство в ротных амуничниках, где хранились ружья и очень красивые каски.

При мне установлен был новый мундир для морских кадет. Он был двубортный темно-зеленого сукна, с дутыми пуговицами; на эполетах — вышитые золотом якоря, исподнее белого сукна, длинные сапоги и треугольная шляпа. Голову пудрили и носили косу. В домашнем костюме перемена была только в том, что вместо длинных сапог носили башмаки и головы не пудрили. Я застал еще старинный мундир, который донашивали. Он был также темно-зеленый, но с белыми отворотами.

Белье переменяли два раза в неделю и вообще за опрятностью строго смотрели. Всякий день поутру дежурный офицер осматривал кадет, и горе тому, у кого найдется какая-нибудь неисправность в одежде! Оставить без булки (это был обыкновенный завтрак, и булки эти были вкусны) было легким наказанием, а то и розги. Особенно был нещаден Елисей Яковлевич Гамалея, который после Мамаева был нашим ротным командиром. Дня субботнего трепетали все те, которые в продолжение недели кому-либо из своих учителей плохо отвечали, и поэтому дежурная комната в субботу наполнялась кадетами, и считалось необыкновенным счастьем, если кто оттуда выйдет не высеченным.

Кормили нас дурно: негодная крупа в каше, плохая говядина нередко подавались на стол, и притом в меру отпущенный хлеб приводил в отчаяние наши молодые желудки. Смело могу сказать, что все шесть лет, проведенные мною в корпусе, были временем строгого воздержания в пище, исключая тех дней, когда в дни отпусков, по неточному расчету эконома, поставят лишние приборы; тогда, кто попроворней, прибор этот приберет к себе на колени и воспользуется двойной

порцией. У нас была всеобщая ненависть против эконома, и его клеймили именем *вора* и на стенах корпуса, и даже на деревьях Летнего сада.

Дежурные офицеры показывались в камеры в известные часы, а в остальное время внутренний порядок лежал на старших и подстарших, которые выбирались из гардемарин; лучшие из них производились в унтер-офицеры. Офицеры редко бывали с кадетами, от этого в ежедневной их жизни было много произволу.

Как в обществе неустроенном, где нет строгого полицейского надзора, преобладает физическая сила, так и у нас кулачное право развито было в высшей степени. По вступлении моем в корпус мне надобно было стать в ранжир по физической силе, и потому выбран мне был сперва один, а потом другой соперник. С обоими поочередно я обязан был выдержать бой на кулаках: одного я одолел, а другой меня поколотил, и из этих двух битв выведено было весьма логичное заключение: «Все те, которые подчиняются силе поколоченного мной кадета, подчиняются и мне; напротив, те, которые сильнее поколотившего меня, суть мои повелители, и я обязан им повиноваться, под страхом быть поколоченным». Бывали случаи, что за невинно угнетаемого вступались богатыри ротные, но это редко случалось, и все мы жили в непрерывной междоусобной войне до производства в гардемарины. Достигнув до этого вожделенного чина, у кадета прежние дикие замашки смягчались; показывались понятия о чести — и прежде бывший дикарь стал походить на человека. Впрочем, у этих молодых людей кроме уваженья к силе физической были и свои хорошие свойства. Они не терпели слабодушия, лукавства, похищения чужой собственности и провинившихся в подобных проступках наказывали жестоко. В этой спартанской школе было и свое

хорошее: здесь закаливали характер в твердую сталь; здесь получалось омерзение ко всему низкому, и я уверен, что на многих моих товарищей это воспитание благотворительно подействовало; утвердительно могу сказать о себе, что оно мне принесло большую пользу.

С производством в гардемарины понятия мои расширились. Первый поход мой был на 110-пушечном корабле «Гавриил» под командой капитана 2-го ранга Чернявина, недавно принятого из отставки. <...> Флот, выступивший в мае месяце 1808 года под командой адмирала Ханыкова, состоял из девяти линейных кораблей, пяти фрегатов и нескольких малых судов. Цель похода этого была истребление шведского флота^[2]. После долгого плавания наконец нашли этот флот, усиленный двумя английскими кораблями, и вместо того, чтобы вступить с ними в бой, адмирал наш заблагорассудил уйти от врага. В боевом порядке, который мы имели в тот вечер, когда увидели шведско-английский флот, «Гавриил» был задний, ближайший к неприятелю корабль.

На рассвете оказалось, что не «Гавриил» задний корабль, а «Всеволод», самый плохой ходок из всего флота, и очень близко от него два английских корабля; шведский же флот на горизонте. Когда посветлело, то «Всеволод», сблизясь с одним английским кораблем, открыл по нему огонь. Другой английский корабль вскоре атаковал «Всеволод», и таким образом наш корабль был поставлен в опасное положение между двумя английскими. В это время на нашем флоте вот что происходило: адмирал дал сигнал «Гавриилу» спуститься на неприятеля. Капитан наш послушался приказания. Начальник дивизии контр-адмирал Моллер на своем корабле «Зачатие Св. Анны», спускаясь на неприятеля и репетируя сигнал адмирала: «Спуститься „Гавриилу“», — проходя мимо его, выстрелил под корму

ядром, что считается во флоте самым строгим выговором. <...>

Адмирал приказал фрегату «Феодосий Тотемский» взять «Всеволода» на буксир. Фрегат этот скоро оставил буксир, оправдываясь, что кабельтов лопнул, но слухи носились, что он обрубил его, и таким образом «Всеволод», израненный в бою с двумя кораблями, был предоставлен своей судьбе. Флот между тем уходил в Балтийский порт, куда благополучно вошел бы и «Всеволод», но имея повреждение в рангоуте <...> был отделен от флота. Ночью посланы были баркасы для провода «Всеволода» ко флоту; но атаковавшие «Всеволод» в это время все те же два английских корабля несколькими выстрелами картечью разогнали наши баркасы.

Завязался сильный бой между нашим и английским кораблями, который кончился тем, что англичане абордировали «Всеволод» и взяли его.

«Всеволод» был так избит в этих двух кровавых схватках, что не мог быть тронут с мели, на которой он сидел, и потому англичане, взяв с корабля команду, на другой день поутру рано зажгли его. Чрез несколько часов последовал взрыв сперва малой, а потом большой крьюйт-камеры.

Во все это время я сидел на «Саленге» и смотрел на эту печально-величественную картину.

Вот первый мой шаг в военном деле — эти обоюдные выстрелы с нашей стороны и неприятельской были моим крещением огненным. Трусость во мне не обнаружилась никаким признаком. Я не имел этого чувства самосохранения, не укрывался от опасности; напротив, мной овладело какое-то любопытство, мне хотелось видеть, что делается. По расписанию к бою я назначен был командовать в нижнем деке четырьмя пушками, но охотно согласился поменяться местом с товарищем своим, который имел назначение на баке,

месте совершенно открытом. Это я сделал потому, что с бака все видно, тогда как на палубе не многое можно увидеть.

Остатки «Всеволода» течением несло мимо нашего корабля. Какой безмолвный укор предательства! И на нас, юношей, эта сцена действовала сильной грустью. <...>

Почувшись осень и зиму в корпусе, весной гардемарины <снова> отправились на флот для практических занятий. Я с товарищем моим Гунарьевым был назначен на люгер «Ящерицу» под командой лейтенанта Арцыбашева. <...> Бриг «Гонец», корвет «Шарлотта» и наш люгер назначены были конвоировать в Або транспорты с провиантом. Открытым морем перехода этого сделать было невозможно, потому что морем владели англичане. Необходимо было пробираться около берега шхерами. <...> Мы ожидали, что неприятель атакует нас гребными своими судами, и действительно, к одному из фрегатов от другого пристали баркас и катера. Мы ожидали, что вот они пойдут на нас; но англичане раздумали и оставили нас в покое. Едва ли это нападение было бы удачно англичанам. Атаковать гребными судами парусные, вооруженные орудиями большого калибра, всегда опасно, а в этом случае успех был невозможен, потому что гребных судов у них было недостаточно.

Из Або люгер «Ящерица» назначен был в крейсерство <...>. Военные действия подходили к концу, и мы не имели никаких встреч с неприятелем. В июле месяце мы конвоировали шведскую яхту, на которой был уполномоченный от шведского правительства для переговоров о мире. <...> Осенью люгер возвратился в Кронштадт, а мы — в корпус. <...>

Выдержав в 1810 году третий гардемаринский экзамен, последний практический поход мы делали на корпусном фрегате «Малом». Мы постоянно

останавливались на якоре на Петербургском рейде и прогуливались между Петергофом и Кронштадтом. <...>

В мое время в Морском корпусе при выпуске было повторение всего пройденного, и несколько раз. Началось с классного повторения; потом был назначаем так называемый корпусный экзамен. Экзаменаторы были избираемы из преподавателей, и к ним назначались гардемарины не их классов; экзаменаторами были также некоторые из корпусных офицеров. После этого экзамена был флотский экзамен, на который приглашались морские офицеры, находящиеся в Петербурге, и из Кронштадта. Это был по большей части экзамен практический. Наконец, главный экзамен, на который приглашались ученые. <...>

Преподавание математических наук в Морском корпусе в мое время было огромное. Исключительно одним этим предметом занимали нас. Другие предметы: история, география, словесность — преподавались очень плохо и по руководствам, которым бы теперь смеялись. Лучшим преподавателем истории был у нас Первухин, читавший, правда, увлекательно о греках и римлянах, но его чтение было чисто анекдотическое. Он не развивал перед своими слушателями ни внутренней, ни политической жизни народов.

При переходе в последний гардемаринский курс давалось на произвол, проходить или не проходить дифференциальные и интегральные исчисления, также и теорию кораблестроения. Если кто отказывался от этих наук, тот при выпуске ставился ниже тех, которые проходили их. Я прошел весь курс, и хотя был не из первых по математике, но довольно хорошо ее знал. В других науках я был первым и главе нашего выпуска Баранову (черному) подсказывал на экзамене географии.

В нашем классе был преподавателем математики Ф. В. Груздов. Это был не его предмет, он преподавал русскую словесность, а математику поручили ему за неимением другого преподавателя. Федор Васильевич был честный и добрый человек. Он объявил нам, что так давно проходил математику, что позабыл ее и потому будет учиться ей и вместе будет нас учить. Когда мы перешли в гардемаринские классы, то, при посещении класса <инспектором> Платоном Яковлевичем <Гамалея>, Федор Васильевич бывало спросит его: «Я этого не понимаю, объясните мне, пожалуйста», — и инспектор тут же, при нас, разъяснит недоумение его. Покажется, может быть, странным, что мы хорошо учились; но это истина: класс все время шел очень хорошо и никак не хуже, если не лучше тех, где преподаватели были опытные, специальные люди.

Я выше сказал, что математические науки у меня шли по среднему, а другие, напротив, отлично хорошо. Странное дело, мой учитель математики более других ободрял меня заниматься преимущественно словесными науками, находя, что в них заключается истинное просвещение, а что математика есть принадлежность специальных людей, какими мы не готовимся быть, и это он говорил пред своими учениками математики! <...>

Продолжительный выпускной экзамен нас изнурил так, что мы сами на себя не походили. Наконец он кончился, и 3 марта 1811 года мы высочайшим приказом произведены были в мичманы. Какое счастье этот первый чин принес всем нам! Наконец я не школьник, не живу в этой строгой зависимости; не встаю поутру под звук барабана, иду, куда хочу...

Воспоминания Броневского // Русская старина. 1908. Т. 134. № 6. С. 545–555.

Н. И. Андреев
Из воспоминаний
Военно-сиротский корпус.
Дворянский полк. 1800-е годы

...В 1798 году старший мой брат Василий был определен в Военно-сиротский дом или корпус, который был учрежден императором Павлом. Заведение сие было любимым у государя. В нем был комплект двухсот и сверх комплектных до 300 человек. При сем же заведении была солдатская рота и отделение девиц около ста. Директором был назначен любимец государя, бывший в Гатчине майором, что впоследствии генерал-майор, кавалер и командир Петр Евстафьевич Веймарн. <...>

Вот настал и мой час. В декабре 1802 года, нарядив меня и брата Нила в зеленые сюртуки с стеклянными пуговицами, в середине коих были из фольги звездочки, и в тафтяные высокие стеганые шапки на вате, в конце коих находились большие пуговицы, обернули нас в заячьи шубы, крытые нанкой. Сборы в дорогу в старину были большие: за полгода говорили, что нужно ехать к Рождеству, за несколько недель соседи прощались, собирали экипажи, служили молебны, повозки были за неделю у крыльца. <...> За три дня изготовили дорожные кушанья. Настал, наконец, час разлуки; дворня, вся до единого, не исключая малолетних у матерей на руках, собралась; плач и рыдание сопровождали наш поезд. Не буду описывать дорогу; помню только, что мы везде останавливались в крестьянских избах для ночлега и покормки лошадей. Тогда харчевен или постоялых дворов было мало.

По приезде нашем <из Порхова> в Петербург <...> меня с братом Нилом отвезли вскоре в корпус, тот же, где был старший наш брат, и родители наши вскоре уехали в свою деревню. Первое время в корпусе мне было чрезвычайно скучно и единообразно. Нас приняли сверх комплекту, надели толстые солдатские мундиры; но по просьбе родителей наших мы спали с комплектными, у которых как мундиры, так и все содержание было гораздо лучше сверхкомплектных, у коих было все солдатское.

Обмундировка наша была следующая: поярковая треугольная шляпа с шерстяным кордончиком, мундир довольно длинный, зеленый, с красным высоким воротником, голова напудрена, сзади заплетены с боков маленькие косички в три прядка, а посредине коса с подкосником, обернутая черной лентой, белая портупея, застегнутая поперек портами, спереди оной медная пряжка, белые суконные исподницы, башмаки тупоносые с медной пуговицей.

Нас поместили в 1-й класс, потому что мы знали только читать по-русски и больше ничего. Как теперь помню, что в классе нашем были два брата Ганнибалы, Федор и Иван, весьма черные лицом и телом, с курчавыми черными волосами и большими белыми глазами и зубами. С нами были и солдатские дети в одном же классе. Учителями нашими были солдатские воспитанники из музыкантов.

Директор наш любил удовольствия; для своих детей, кадет и девиц он учредил домашний театр у себя на дому на чердаке, в коем играли кадеты и его сыновья, они же и женские роли; из них был недурен кадет в женской роли Лямин, который впоследствии взят цесаревичем <Константином Павловичем> в конную гвардию юнкером. <...> Иногда собирались танцевать у директора, и кадеты играли в бильярд. Могли везде кадеты быть в партикулярном платье и

всегда по просьбе были отпускаемы домой, часто и не в праздник; девицам тоже был отпуск из корпуса с родственниками, а часто и со знакомыми <...>.

Учителя наши были неважные, и на успехи кадет никто не обращал внимания до того, что некоторые были в классах, а другие играли на дворе в мяч и чехарду.

В 1805 году <...> по увольнении <в отставку> директора Веймарна многие очень сожалели, что лишились отца: так его называли кадеты. После него преобразовался совершенно корпус: отделение девиц переведено в другой дом, солдатская рота в Рамбов^[3], уничтожены сверхкомплектные, все были разделены на две роты. Директором назначен полковник <Федор Иванович> Ген, офицеры даны из армии и гренадеров. Ротными командирами назначили двух капитанов — Эбергарда и Свечина; они оба были строги до чрезвычайности. Эбергард, чахоточный, сухощавый и никогда не улыбался, сек кадет без пощады и, кажется, сам наслаждался, до того, что многих полумертвых выносили в лазарет, а г-н Свечин не уступал злостью и варварством Эбергарду. <...> Секли <...> на скамейках солдаты, и нередко давали до 700 розог и более. Жестокость сих варваров известна была многим.

Дали лучших учителей, перестроили дом, и корпус принял один вид с прочими корпусами.

Я забыл сказать, что с 1805 года уничтожили на голове пудру и косу, а с 1807 года дали кивера и портупею через плечо. <...> Директор наш Ф. И. Ген приказом по корпусу установил, чтобы отпускаемые в праздник кадеты никак бы не ходили к параду, что бывал у дворца каждое воскресенье; но как обыкновенно всякое приказание в последствии времени забывается, так же и сие. <...>

Я утром вышел погулять и, встретясь с кадетом нашего корпуса Зеничем, условились идти в Эрмитаж, куда свободно пускали нас по билетам, которые легко можно было достать, и, проходя мимо дворца, видим развод и государя. Как же пройти и не взглянуть.? Мы остановились, но что же? Не прошло пяти минут, как подошел к нам директор, спросил наши фамилии и велел идти в корпус; всякий может вообразить, каким страхом мы были поражены. И, отойдя от дворца, не рассудили вернуться в корпус, а пошли каждый по своим квартирам и явились в корпус к вечеру со всеми вместе.

На другой день в обед наш пришел директор и спросил нас; мы встали, извиняясь, что не нарочно, но проходя мимо остановились. На сие не получили никакого возражения, а вечером фельдфебель Ходовский показал нам письменный приказ директора, в коем было сказано: «Кадеты 2-й роты Андреев и Зенич ослушались приказа и были на параде найдены г-ном директором, за каковое ослушание при собрании всей роты наказать их розгами». Я сознаюсь, ночь всю провел без сна.

В 9 часов пошли в классы. Куда тут науки и уроки! Меня не помню, что спросили, я не отвечал, хотя по обыкновению кадеты мне подсказывали и давали знать знаками; но я был растерян и за сие поставлен среди классов на колени. В это время входит инспектор Шумахер. Увидя меня, повернулся и сказал: «Экой болван!» Но я был равнодушен и думал, что меня будут терзать.

Пришла пора, вышли из класса, построили роту, повели обедать. Разумеется, я до обеда не дотрагивался; кончился обед, начали выносить лишние столы (ибо залы у нас не было, потому что дом перестраивался наш, а мы жили в наемном <...>, комнаты были малы, рота поместиться не могла),

привели всю роту, поставили скамью длинную, явились палачи-солдаты с ужасно длинными мокрыми розгами, и за ними не замедлил прийти главный капитан Свечин; вызвав меня и Зенича на средину, велел прочитать указ. Куря сигарку, он мигнул нам, и я первый повалился на скамью. Не помню, что я чувствовал, пожар, огонь, боль, но к счастью, оробев, я мало подавал голосу; меня кончили и сняли. Но ужас был Зеничу; несчастный кричал во всю глотку, и его, как имеющего хороший голос, по словам капитана, секли без пощады; считавшие по обыкновению удары прочие кадеты сказали, что мне 80, а Зеничу 533 удара были наградой за любопытство развода.

Мне шел уже 17-й год, но успехи по наукам очень слабы: я был еще во 2-м классе. Я думал: что делать? Офицером буду не скоро и очень не скоро, разве чрез пять или шесть лет. Как быть? Блеснула мысль: буду проситься из корпуса в отставку. Решил и написал батюшке о моей болезни и прочее, выдумал многое. Отец мой рассудил и разрешил мне выйти, <...> и я чрез неделю оставил ненавистный мне корпус, где я провел семь лет. <...>

Вот я на свободе и нимало не помышляю, что я буду делать и какую теперь разыгрываю роль. Нанял я недорого подводу и приехал к отцу. Первое его слово: что ты и чем будешь заниматься? Куда думаешь вступить в службу? Я еще ничего не обдумал, но отвечал: «Как вам будет угодно!» — «Хорошо, живи дома, и что из тебя выйдет». Я же с первого шагу так соскучился, что не знал, что делать; и наконец блеснула мысль благая: я прошу отца отпустить меня в Петербург, где я сам определяюсь в Дворянский полк, называемый тогда волонтерным, из дворян устроенный 1807 года, в коем были дети, старики и отцы с сыновьями. Он состоял при 2-м кадетском корпусе. Отец мой одобрил мой выбор, благословил и к новому 1810

году отправил меня, дав в дорогу 50 рублей ассигнациями. Я был Крез.

По приезде в Петербург, имея свидетельство о дворянстве губернского предводителя, я чрез неделю был принят в корпус волонтером во 2-й батальон. Являсь к батальонному командиру Энгельгардту, я сознался ему, что был в корпусе Военно-сиротском, откуда вышел по болезни, и учился математике, знаю читать и писать по-французски и по-немецки, географии хорошо (это я не прибавил, потому что любил сию науку), историю, рисовать, ну словом, что меня учили. Я был принят милостиво <...> как воспитанный хорошо. Буду офицером чрез 6 месяцев!

Я занялся фронтом, в классы не ходил, потому что учились только те, кто не знал читать и писать по-русски и первых четырех правил арифметики. Я уже был в общем мнении профессор, хотя правду сказать, только то знал, чему учили других.

Фронт я понял скоро и дожидался выпуска, но, увы, тщетны наши надежды! Цесаревич Константин Павлович, узнав, что г-да батальонные командиры берут деньги с кадет и выпускают их чрез два месяца, <...> запретил всех прежде года не выпускать офицерами. Я должен был оставаться на год, но меня произвели унтер-офицером. В это время определены были в один со мной корпус и меньшие мои братья Александр и Петр.

Житье мне было превосходно против Военно-сиротского: свобода и без классов, стол изрядный. В июне пошли кадеты, в том числе и наш полк, в Петергоф на практический поход. Довольно было приятно, мы были на маневрах с гвардией <...>. Учение, частые смотры императора Александра и разводы каждый день. <...>

Приближалась осень. В сентябре вызывали желающих в кавалерию. Разумеется, я, пробыв восемь

лет в корпусе, объявил желание, которое вскоре назначения переменялось. Из прежних охотников в кавалерию спросили желающих в пехоту в новоформированную дивизию 27-ю. Я от того не прочь. Чрез неделю свели нас, охотников, <...> к государю в Зимний <дворец>, во Владимирскую залу. Царь нас поздравил и велел немедля экипировать, что исполнено было с величайшею скоростью на казенный счет. <...> Я был назначен в 50-й егерский полк 27-й дивизии. Описывать ли восторг и чувство старого кадета, когда я надевал шпагу? Из разных корпусов 100 человек представлены мы были к государю, который, осмотря нас, просил служить хорошо...

Из воспоминаний Николая Ивановича Андреева // Русский архив. 1879. Кн. 3. № 10. С. 173-178.

И. М. Казаков
Из воспоминаний
Пажеский корпус. 1809-1813 годы

В 1809 году поступил я в Пажеский корпус, будучи принят по экзамену в третий класс; в 1810 году переведен во второй, в 1811 году — в первый класс и произведен в камер-пажи. Учение шло хорошо, и я был на счету лучших учеников. Камер-пажом я поступил на половину императора Александра I, который, по необыкновенной доброте своей, полюбил меня, а я обожал его и всю царскую фамилию.

Два года почти ежедневного нахождения во дворце от 4 часов пополудни до полуночи для услуг царской фамилии, императору и императрице Елизавете Алексеевне, этим земным ангелам, довели любовь мою до обожания, а преданность — до пожертвования жизнью.

Вся царская фамилия была не только милостива к камер-пажам, но и любила их, и была совершенно уверена в их любви и преданности; это доказывалось тем, что при семейных обедах, где все они обедали одни, никто кроме камер-пажей не служил, и никто не мог входить в столовую <...>; и тогда они были, как говорится, нараспашку — обо всем говорили без всякого этикета, и шутили и смеялись, как простые смертные; по окончании стола приказывали нам брать при себе конфеты и фрукты, и это все поступало в наши треуголки. Когда после обеда все расходились по своим половинам, мы провожали их, после чего нам подавали обед, и если не было вечером собрания, то нас отвозили в корпус кроме одного дежурного, обязанность которого начиналась с 10 часов утра и кончалась в

полночь. Когда вдовствующая императрица <Мария Федоровна> выезжала куда-либо, то дежурный верхом обязан был сопровождать у двери кареты; если это случалось зимой, государыня всегда говорила дежурному: «Restez, mon cher, il fait trop froid»^[4], — но в молодости холода нет, а верхом ездить было наслаждение, ну и упросишь и умилоставишь так, что позволит сопровождать.

Камер-пажом я был два года, с половины 1811 года, 1812 год, и в июне 1813 года выпущен в Семеновский полк, по экзамену вторым по корпусу. Прежде, до 1811 года, первые двое выпускались по экзамену поручиками, но по отмене этого в 1812 году — прапорщиками. <...> После производства мы откланялись императрицам, были угощены и получили подарки...

Поход во Францию в 1814 году. По запискам прапорщика лейб-гвардии Семеновского полка И. М. Казакова // Русская старина. 1908. Т. 133. № 3. С. 523-524.

К. Зенденгорст **Из воспоминаний** ***Первый Санкт-Петербургский*** ***кадетский корпус. 1813-1825 годы***

...В царствование Александра I военно-учебные заведения находились под покровительством цесаревича великого князя Константина Павловича как главного начальника Пажеского и всех кадетских корпусов. Отечественная война 1812 года и заграничный поход 1813 и 1814 годов, в которых цесаревич принимал непосредственное участие, отвлекали его от любимых занятий. В 1816 году цесаревич был назначен главнокомандующим польской армией и отправился в Варшаву; бывшие корпуса состояли под непосредственным начальством гг. директоров, без всякого над ними контроля.

При вступлении моем в заведение семилетним ребенком, в 1813 году, директором 1-го кадетского корпуса был генерал-лейтенант <Федор Иванович> Клингер, весьма угрюмый и суровый человек. Не отличаясь «мягкосердием», Клингер был неумолимо строг с кадетами; снисхождение и ласковое обращение с питомцами были чужды его сердцу; дети боялись его. В продолжение девятнадцатилетнего управления корпусом (с 1801 по 1820 год) генералом Клингером не было сделано никаких улучшений ни в нравственном, ни в физическом и ни в учебном воспитании кадет; то было время какой-то безжизненности в корпусе. Кроме того, Клингер, как ученый, занимал почетные должности и по женским учебным заведениям; но как иностранец не желал выучиться русскому языку, который не мешало бы ему знать как директору

учебного заведения в России; с кадетами Клингер объяснялся на французском языке, а инспектор классов переводил нам по-русски; отдавая приказание заключить виновного кадета в тюрьму^[5], Клингер говорил: *На турма ево*. Вот все, что он мог сказать на русском языке. <...>

Малолетнее отделение, состоявшее в то время при 1-м кадетском корпусе, было разделено на 6 камер, под управлением дам. <...>

В корпусе были тогда открытые галереи, по которым дети должны были проходить из дортуара в столовую, из столовой в классы, из классов в залу. Зимой, в 20 градусов слишком мороза, прогулки эти по галереям были довольно ощутительны и неприятны, тем более что одежда наша была легкая: суконная куртка с брюками, башмаки и нитяные чулки, голова и шея открытые, о наушниках и перчатках не было и помина; в этом костюме летом жарко, а зимой — холодно. Наши камерные дамы, сопровождая нас по утрам из дортуара в столовую, чтобы подкрепить наши детские силы габерсупом, надевали зимой меховой салоп и теплый капор, а кадеты в *означенном костюме* следовали за ними в должном порядке — попарно, маленькие впереди.

Полы были окрашены только в лазарете; в зале и дортуарах были простые, и мылись едва ли один раз в неделю. В рекреационной зале был один стул для дежурной дамы, небольшой ларь для наших нянек, и затем положительно — никакой другой мебели.

Всякий может себе представить, что происходило в этой зале при сборе не менее 150 человек детей, которые ходили, бегали и резвились; дежурная дама, по снисхождению к детям, довольно долгое время терпела шум и гам кадет и, наглотавшись пыли досыта, наконец

призывала нас садиться, и мы располагались на полу — по-азиатски.

Вместо чаю нам давали поутру тарелку габерсупу с хлебом, а в четыре часа пополудни небольшую булку и стакан невской воды; о прочей пище не буду распространяться, скажу только, что в то время кадеты нередко заболевали *скорбутом*.

По методу тогдашнего воспитания розги были необходимое и естественное средство для исправления детей в их нравственности. На этом основании наши камерные дамы не упускали случая употребить это материнское наказание, нередко и за маловажные детские шалости. М-ме Бертгольд, как директриса, наказывала детей за особые важные проступки — эти экзекуции производились в классах, и после наказания кадет был обязан, со слезами на глазах, поцеловать руку м-ме Бертгольд и поблагодарить ее. Домашние наказания производились собственноручно нашими дамами, как мать наказывает своего непослушного и капризного ребенка-сына; следовательно, об этом знали только наши камерные товарищи, которые не выносили из избы сора, потому что между кадетами была примерная дружба и *товарищество*, которое не изменялось и не прекращалось вне корпусных стен. Публичное наказание м-ме Бертгольд чрезвычайно оскорбляло наше детское самолюбие — оно производилось служителем, состоявшим при отделении.

Пробыв шесть лет в малолетнем отделении, я был переведен в роты, в 1819 году, в числе пяти кадет удостоился поступить в гренадерскую Его Высочества цесаревича роту^[6]. В то время капитаном той роты был Карл Карлович Мердер (впоследствии попечитель ныне благополучно царствующего государя императора <Александра Николаевича>).

По какому случаю рота эта называлась Его Высочества цесаревича? Расскажу, что слышал по этому предмету.

По рассказам стариков-очевидцев, во время посещения императором Павлом Петровичем бывшего Шляхетного кадетского корпуса Его Величество уронил палку или трость (с каким-то умыслом); один из кадет того корпуса подбежал тотчас и, подняв трость, имел счастье вручить Его Величеству; тогда император Павел Петрович сказал: «Повелеваю этому корпусу именоваться *Первым* кадетским корпусом, и сыну моему, цесаревичу Константину, — шефом гренадерской роты этого корпуса».

В первый день нашего перевода К. К. Мердер обласкал нас и пригласил к себе, где провели мы несколько часов в кругу его доброго семейства.

Пища в ротах в то время была улучшена: поутру вместо чаю давали кадетам две булки; обед состоял из трех, а ужин — из двух блюд. Одежда была следующая: двубортный мундир с золотым галуном по воротнику и на обшлагах и серые брюки с крагами. Эти солдатские краги из толстой кожи и дурно пригнанные портили ноги кадетам; просидеть в них восемь часов в классах была настоящая мука или пытка, потому что ноги делались от краг как будто налитые свинцом.

В корпусе в то время не было никаких гимнастических упражнений, кадеты делали весьма мало моциона, и вследствие этого, несвойственного юношеским летам костюма у многих кадет болели ноги и делались кривыми. У нас в корпусе был тогда кадет Кирхохлан, привезенный из Греции; у него болели ноги до такой степени, что он едва передвигал их; всходить на лестницу и спускаться с нее ему было чрезвычайно трудно, потому что у него не сгибались ноги; ходьба его из дортуара в столовую, в залу, в классы и обратно продолжалась в каждый конец едва ли не более как по

десяти или пятнадцати минут, а потому он всегда и всюду опаздывал. Зимой, во время больших морозов, из жалости к нему два сильных кадета брали Кирхохлана под руки и, подняв на воздух, несли его в таком положении ускоренным шагом. Несмотря на такое болезненное состояние ног у Кирхохлана, он носил с прочими кадетами солдатские краги; наконец корпусное начальство сжалилось над ним и только в последнее время пребывания его в корпусе приказало сшить ему серые брюки — без краг; по вышеизложенным обстоятельствам, родные Кирхохлана должны были взять его из корпуса. <...>

Инспектором классов Первого корпуса был генерал-майор Михаил Степанович Перский <...>. Ласковое обращение с воспитанниками, неусыпные труды и заботы об умственном нашем образовании приобрели М. С. Перскому всеобщее уважение и искреннюю признательность кадет. <...>

Считаю нелишним также упомянуть здесь о бывшем старшем докторе статском советнике Зеленском и передать его странности, происходившие будто бы вследствие душевной его скорби о потере нежно любимой им жены.

Доктор Зеленский, делая визитацию по лазарету, если замечал, что некоторые из больных, желая остаться лишний день в лазарете, выказывали ему жалкую и страдальческую физиономию, он озадачивал тех кадет следующими словами: «Гримасы не делать и стоять предо мной как пред Иисусом Христом! Бог, Ломоносов и я! Возьму за пульс — все узнаю; о чем думаешь — узнаю!» Такие выходки доктора Зеленского не следовало считать признаком умственного его расстройства (как предполагали другие), но были не что иное, как шутки, употребляемые им с теми кадетами средних классов, которые своим притворством намеревались обмануть его. Зеленский

был очень добрый человек и любил кадет; когда бывали труднобольные, то он находился в лазарете почти безвыходно, оказывая им всевозможные медицинские пособия, дабы облегчить их страдания; многие из них выздоравливали, обязанные вполне искусству и неусыпному за ними уходу доктору Зеленского.

Теперь я должен говорить о весьма неприятном предмете — о взысканиях, которым подвергали кадет за их проступки; постараюсь, сколько возможным, быть кратким. <...> За важные проступки виновные кадеты были заключаемы в тюрьму на неделю и более (место заключения кадет, как я объяснял выше, не называлось «карцером»). По рассказам кадет, находившихся в заключении, эта тюрьма состояла из небольшой отдельной комнаты, куда проникал слабый свет чрез небольшое окошечко с железной решеткой; в ней находились кровать и стол, прибитые к полу; кровать без соломенника, а вместо подушки были прибиты доски в наклонном положении; с виновного снимали мундир и надевали солдатскую шинель, и он находился на пище св. Антония: на хлебе и воде. Когда оканчивался срок заключения, ротный командир приходил в тюрьму, сопровождаемый четырьмя служителями с пучками розог, и заключенный подвергался жестокому телесному наказанию, всегда тщательно скрываемому от кадет. <...>

Русская пословица говорит: «С одного вола двух шкур не дерут!» — но корпусное начальство ее не придерживалось: за каждый сколько-нибудь важный проступок виновный кадет почти постоянно подвергался двум, а иногда и трем наказаниям.

Кадеты, испытавшие телесное наказание, рассказывали, будто бы розги «вымачивались в воде», чтобы сделать наказание более «чувствительным». Если допустить справедливость таких рассказов, то, по всей вероятности, это делалось без ведома ротных

командиров, самими служителями, так как между ними были очень грубые и жестокие люди; исполняя обязанность «палачей» при экзекуциях, они секли кадет без всякой к ним жалости.

Такое жестокое и позорное для благородного юношества телесное наказание, оскорбляя врожденные благородные и возвышенные чувства, озлобляло многих кадет до невероятности, так что при наказании некоторые из них с твердым и истинно рыцарским характером, дабы не кричать и скрыть боль от наказания, или, лучше сказать, чтобы пересилить эту боль, кусали до крови свои пальцы! Это не вымысел, но факт, который я могу объяснить лично и назвать их по фамилии.

В 1819 году генерал-адъютант императора Александра I, граф Петр Петрович Коновницын, был назначен главным директором Пажеского и других кадетских корпусов, Дворянского полка и Императорского Царскосельского лицея с принадлежавшим ему пансионом, а в 1820 году генерал Клиnger, по прошению, уволен от звания директора 1-го кадетского корпуса. Вместо его директором 1-го корпуса назначен инспектор классов генерал-майор Перский, с оставлением при прежней должности.

С назначением <...> Коновницына, в корпусе все переродилось и изменилось к лучшему. <...> Какая-то невидимая сила руководила поступками кадет: мы старались быть благонравными, послушными, и все делалось без приказаний и напоминаний со стороны корпусного начальства; граф Коновницын был в состоянии сделать такой счастливый «переворот» во всех корпусах.

Если посещения графа Коновницына бывали во время сбора кадет в саду или в зале, то всякий спешил навстречу любимому начальнику, а в малолетнем отделении дети окружали графа Коновницына как

нежно любимого отца и положительно заграждали ему дорогу; каждый желал удостоиться ласки или услышать приветливое слово от графа. Таковые сцены были довольно продолжительны, так что директор корпуса, сопровождавший графа Коновницына, должен был просить детей дать дорогу пройти графу.

Это счастливое время продолжалось только три года. Летом 1822 года разнеслась в корпусе плачевная весть о смерти графа Коновницына; в то время граф с семейством жил на даче, где последовала его кончина. Отпевание тела графа Коновницына совершалось в церкви 1-го кадетского корпуса, и при выносе гроба многие из бывших кадет пролили непритворные слезы о потере всеми уважаемого начальника и *незабвенного воспитателя!* <...>

После умершего графа Коновницына главным директором Пажеского и всех кадетских корпусов, а также и Царскосельского лицея назначен генерал-адъютант граф Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, родственник князя Смоленского.

Я считаю не лишним передать некоторые сведения о впечатлениях о бывшем наводнении в Петербурге 7 ноября 1824 года.

В тот день, с раннего утра, по случаю чрезвычайно сильного ветра с моря, вода в Неве начала прибывать с невероятной быстротой, так что с 9 часов утра она выступила из берегов, затопив все низменные места в городе и по окрестности. Из первого верхнего класса, расположенного в среднем этаже, против корпусных ворот, где я провел все утро 7 ноября, в отворенную калитку можно было видеть постоянно возрастающую прибиль и быстрое течение воды по улице или 1-й линии Васильевского острова <...>.

По окончании классов в 11-м часу вода ворвалась в корпусный сад и во двор, сорвав все ворота с невероятной силой, вместе с толстыми железными

крючьями. Вода бушевала целый день со страшной яростью, разрушая и истребляя до основания все встречающиеся ей на пути сколько-нибудь слабые преграды.

При этом общем бедствии нижний, жилой этаж в Первом корпусе, а также подвалы и кладовые со съестными припасами (частью спасенными) были затоплены водой; по этому случаю наш ужин в тот день состоял из остатков от обеда, но зато было вдоволь хлеба и булок. Впрочем, того же дня вечером мы чрезвычайно обрадовались, увидев из окон, что <...> начал ходить народ с фонарями, по чему можно было заключить, что вода сбыла; с этим радостным чувством кадеты легли спать, но многие из наших бывших товарищей провели ту ночь с душевным беспокойством, вспоминая о своих родных, живших в Галерной <улице> или в других, более низменных частях города, в которых бывшим наводнением произведены весьма значительные, страшные опустошения^[7].

В ту зиму кадеты не были увольняемы в домовый отпуск даже на праздники Рождества Христова, в том внимании, что многие из их родных и знакомых, по бедности, оставались жить в сырых домах, бывших затопленными наводнением, а потому посещение родных в сырых их жилищах могло иметь вредное влияние на здоровье воспитанников. <...> При этом общем бедствии в корпусе, благодаря Бога, не было особенных несчастных случаев, даже все наши верховые лошади были спасены; но по случаю повреждений в манеже и мокрой земли в оном, а затем замерзшей от морозов, кадеты высших классов на долгое время были лишены единственного удовольствия в корпусе — верховой езды.

В 1825 году я удостоился быть представленным в офицеры и высочайшим приказом, состоявшимся в 28

день апреля, произведен в прапорщики, с определением на службу в 1-й пионерный (ныне саперный) батальон...

Зенденгорст К. Первый кадетский корпус в 1813-1825 гг. Из воспоминаний бывшего воспитанника // Русская старина. 1879. Т. 24. № 2. С. 305-316.

П. М. Дараган
Из воспоминаний
Пажеский корпус. 1815-1817 годы

...Право быть определенным пажом к высочайшему двору считалось особенной милостью и предоставлялось только детям высших дворянских фамилий. Кроме того, Пажеский корпус в то время был единственным заведением, из которого камер-пажи, по своему выбору, выходили прямо офицерами в полки старой гвардии, куда стремилось все высшее и почетнейшее дворянство. При таких условиях поступление в Пажеский корпус представляло значительные затруднения.

Пажеский корпус хотя находился и в то время в числе военно-учебных заведений, причем состоял под начальством главного начальника этих заведений, но во многом резко отличался от них. Это был скорее аристократический пансион. Пажи отличались от кадет своим обмундированием: мундирное сукно было тонкое, вместо кивера они имели треугольную офицерскую шляпу и не носили при себе никакого оружия. Одни камер-пажи имели шпаги. Пажи не делились, как кадеты, на роты, — но на отделения. Вместо ротных командиров у них были гувернеры; вместо батальонного командира — гофмейстер пажей.

Пажи часто требовались во дворец к высочайшим выходам. Их расставляли по обеим сторонам дверей комнат, чрез которые должна была проходить императорская фамилия. В этом случае особенно забавны были маленькие пажи. С завитой, напудренной головой, с большой треугольной шляпой в руке, они гордо стояли с важной миной сознания своего

достоинства. Служба эта очень нравилась пажам, они ей тщеславились и по несколько дней не смывали пудры с головы, а иногда вновь припудривались, чтобы заявлять, что они были при дворе. Мне один раз случилось исполнять службу пажей Елизаветинского времени, когда для торжественных поездов были устроены особые, большие, парадные вызолоченные кареты, которые возились восьмью лошадьми шагом. На передних рессорах этих карет были устроены небольшие круглые сиденья. На эти сиденья (их называли *пазами*) сажали пажей лицом к карете, спиной к лошадям. <...>

Бывший Мальтийский дворец, дом бывшего государственным канцлером при императрице Елизавете Петровне графа Воронцова, занимаемый Пажеским корпусом, не был еще приспособлен к помещению учебного заведения и носил все признаки роскоши жилища богатого вельможи XVIII столетия. Великолепная двойная лестница, украшенная зеркалами и статуями, вела во второй этаж, где помещались дортуары и классы. В огромной зале в два света был дортуар 2-го и половины 3-го отделений; в других больших трех комнатах помещались другая половина 3-го и 4-е отделение. Первое же отделение малолетних теснилось в низком атресоле, устроенном из комнат, назначенных для прислуги и хора для музыки.

Все дортуары и классы имели великолепные плафоны. Картины этих плафонов изображали сцены из Овидиевых превращений, с обнаженными богинями и полубогинями.

В комнате 4-го отделения, где стояла моя кровать, на плафоне было изображение освобождения Персеем Андромеды. Без всяких покровов прелестная Андромеда стояла прикованная к скале, а перед ней Персей, поражающий дракона.

Непонятно, как никому из начальствующих лиц не пришло на мысль, что эти мифологические картины тут вовсе не у места, что беспрестанное невольное созерцание обнаженных прелестей богинь может пагубно действовать на воображение воспитанников, — и что гораздо целесообразнее было бы снять эти дорогие картины (говорят, они были очень ценны), продать и на эти деньги устроить хоть небольшую библиотеку и физический кабинет. Этих вспомогательных пособий образования вовсе не было. Но главное начальство мало интересовалось нами.

Главный начальник военно-учебных заведений великий князь Константин Павлович жил в Варшаве и ни разу не посетил корпуса.

Заступающий его место генерал <Федор Иванович> Клингер занимался немецкой литературой и писал философские романы. Это был человек желчный, сухой, угрюмый <...>. Директор корпуса генерал <Иван Григорьевич> Гогель был членом ученого Артиллерийского комитета и как артиллерист более интересовался пушками-единорогами^[8], нежели пажами. Инспектор классов полковник Odé de Sion, французский эмигрант, любил более хорошее вино, хороший обед и свою масонскую ложу, в которой он занимал место великого мастера. Иногда в послеобеденные часы пред тем, чтобы отправиться в ложу, приходил он в классы и там, где не было учителя, садился подремать на кафедру. Один наш гофмейстер полковник Клингенберг был к нам близок и жил нашей жизнью. Это был душа-человек, простой, ласковый, симпатичный, хотя крикливый. Пажи любили, уважали и боялись его, но круг его деятельности был ограничен наблюдением за порядком и приготовлением пажей к военной службе.

По окончании утренних уроков, в 12 часов собирались пажи в небольшую рекреационную залу, строились по отделениям; приходил очередной ежедневный караул из 10 пажей, барабанщика и камер-пажа, являлся Клингенберг и делал развод по всем правилам тогдашней гарнизонной службы. Караулом командовал дежурный по корпусу камер-паж. Это было единственное фронтовое образование пажей. Не было ни одиночной выправки, ни ружейных приемов, ни маршировки, кроме маршировки в столовую, причем пажи немилосердно топали ногами. Правда, летом один месяц посвящался обучению фронта, — но это было больше для камер-пажей, которые, как офицеры, командуя маленькими взводами в 5 рядов, с большим старанием изучали тогдашний мудреный строевой устав <...>. Что же касается до научного образования, то в то время и мы, как и все, по меткому изречению Пушкина, учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь.

В Пажеском корпусе науки преподавались без системы, поверхностно, отрывочно. Из класса в класс пажи переводились по общему итогу всех баллов, включая и баллы за поведение, и потому нередко случалось, что ученик, не кончивший арифметики, попадал в класс прямо на геометрию и алгебру. В классе истории рассказывалось про Олегова коня и про то, как Святослав ел кобылятину. <...> В первом классе у камер-пажей был даже класс политической экономии. <...>

Но если преподавание наук было отрывочно и вообще слабо, то нравственное настроение пажей было особенно замечательно. Почти все сыновья аристократов и сановников, пажи из своих семейств приносили в корпус и укореняли тогдашний лозунг высшего общества: *Noblesse oblige*^[9], и щекотливое понятие о *point d'honneur*^[10]. Гордись званием пажей,

они сами более своего начальства заботились, чтобы между ними не допускался никто, на кого бы могла падать хоть тень подозрения в каком-нибудь неблаговидном поступке. Не так страшно было наказание, ожидавшее виноватого от начальства, как то отчуждение, тот остракизм, которому неминуемо подвергался он среди своих товарищей. Во время этой опалы товарищи не приближались к нему, не говорили с ним. Только маленькие пажи-задоры вертелись около него, дразнили, а он должен был молчать и терпеть. <...>

Телесное наказание составляло редкое исключение. Во все время пребывания моего в корпусе мне пришлось только один раз присутствовать на такой экзекуции, я был уже камер-пажом. В рекреационную залу собрались пажи к разводу, куда (к немалому удивлению всех) явился и генерал Клингер. Прочитали приказ о наказании пажа Л. розгами. Сторожа привели его из карцера, принесли розги и скамейку. Клингер все время молчал, а когда Л. раздевали и клали на скамейку, вышел из залы. Тогда пажи бросились с шумом на сторожей и освободили Л. Но Клингер был недалеко. Он возвратился, схватил первого попавшегося ему пажа, втащил в середину и, тряся его за воротник, закричал: «Mais savez vous qu'on brûle pour cela». Пажи отбежали и построились по отделениям; восстановилась тишина. Л. положили на скамейку, началась экзекуция, и Клингер ушел, не промолвив более ни одного слова. К чему он относил свою угрозу, осталось неизвестно: к восстанию ли пажей или к вине Л., а вина его, как говорили, была та, что он, желая в воскресенье выйти из корпуса, сам написал записку от имени родственника, к которому отпускался.

Эти записки об отпуске много стесняли пажей. В корпусе было известно, кто к кому отпускался во время праздников, и без записки от того лица не давали

разрешения выходить. Кроме того, пажи нигде не должны были показываться без сопровождения слуги или кого-нибудь из родственников. Только камер-пажи имели право оставлять корпус без записок, ходить по улицам без провожатого и сидеть в креслах в театре.
<...>

1 мая 1817 года я был произведен в камер-пажи.

Как памятен мне этот счастливейший день моей жизни! Юность, весна и первое отличие упоительно действовали на меня. День был светлый, солнечный, и я, в одном новеньком камер-пажеском мундире пошел по Фонтанке в Большую Миллионную, где тогда жила моя тетка Елизавета Яковлевна Багговут. Но мое доверие к петербургскому маю, как часто бывает в жизни с каждым излишним доверием, не осталось безнаказанным, к вечеру я почувствовал сильную простуду. Меня уложили в постель и дали знать в корпус. В постели, в жару, с головной болью я окончил день, который начал таким бодрым, уверенным, счастливым.

Через три недели я выздоровел и явился в корпус на камер-пажескую службу...

Дараган П. М. Воспоминания первого камер-пажа императрицы Александры Федоровны // Русская старина. 1875. Т. 12. № 4. С. 775-781.

Е. И. Топчиев
Из воспоминаний
Дворянский полк. 1815-1819 годы

В половине октября 1815 года меня отправили в Санкт-Петербург вместе с соучеником моим по Харьковской гимназии Василием Тихоцким. Москву мы застали еще мало обстроившейся после губельного для нее 1812 года. Много каменных домов и других строений стояло обгорелых, полуразрушенных; чрез многие дворы ездили — как бы по улицам; колокольни были большей частью с одним колоколом. Отдохнув в Петербурге не более суток, явились в канцелярию 2-го кадетского корпуса и были приняты, по нашим документам, в Дворянский полк.

Начальником 2-го кадетского корпуса и находившихся при нем Дворянского полка и Дворянского кавалерийского эскадрона считался генерал-адъютант <Дмитрий Дмитриевич> Курута, но его действительная служба была при лице великого князя Константина Павловича, в Варшаве. За его отсутствием заведовал <Андрей Иванович> Маркевич, кажется, генерал-майор, начальник собственно 2-го кадетского корпуса. <...>

В Дворянский полк и Дворянский кавалерийский эскадрон принимали дворян не моложе 16 лет, до каких же лет — не было ограничения. Собственно кадеты 2-го корпуса были в составе одного батальона в четыре роты, одной гренадерской и трех мушкетерских; кто командовал батальоном кадет во фронте — не припомню. Определяющиеся в Дворянский полк зачислялись обыкновенно в мушкетерские роты; перевод в гренадерские роты и производство в унтер-

офицеры и фельдфебеля вели к выпуску, то есть производству в офицеры в следующий выпуск. Для поступающего в Дворянский полк было довольно одного года, чтобы быть переведенным в гренадерскую роту. При мне выпуски были ежегодные, обыкновенно весной, по 500 человек в каждый, исключая 1818 год, потому что в предшествовавшем, 1817 году, было два выпуска, весной 500 и осенью 300.

После кампании 1812, 1813 и 1814 годов полки весьма нуждались в офицерах, следствием чего, полагаю, в Дворянском полку и Дворянском кавалерийском эскадроне не был ограничен прием молодых дворян комплектом, притом принимали без экзамена и дальнейшего разбора о дворянстве, основываясь на выданных документах в губерниях. Губернаторы имели предписание заохочивать недорослей из дворян определяться в Дворянский полк и Дворянский кавалерийский эскадрон и всем недостаточным выдавать прогоны за счет казны — до Петербурга.

Родившись 1 апреля 1801 года, в ноябре 1815 года я имел 14 лет, а по моим документам значилось 16. До самого определения в Дворянский полк я не знал, что в нем ничему не учат, кроме фронтовой службе. Теснота помещения в Дворянском полку, дурное содержание и вместе охота продолжать прерванное учение — заставили меня хлопотать о переводе во 2-й кадетский корпус. Но перевод мой не состоялся по неимению вакансии, а более потому, что мне прибавили два года лишних: в высшие классы не принимали, а для средних, по документам, я перестарел. Брата я застал унтер-офицером в 4-й мушкетерской роте, куда и я назначен. Этой ротой командовал штабс-капитан Мансуров — большого роста, дебелый, мешковатый, который что бы ни надел на себя, все ему было не к лицу.

В 1813, 1814 и 1815 годах недоросли прибывали большими партиями с некоторых губерний, преимущественно с Рязанской, Курской и Смоленской; в числе этих недорослей были перезрелые, едва грамотные, дети мелкопоместных дворян, не служащих. Я застал такую тесноту помещения в Дворянском полку, что на двух вместе сдвинутых кроватях спали по пять воспитанников. Если кому, бывало, придется встать ночью по надобности, то находил, возвратясь назад, что спящие товарищи заняли собой оставленное место и нет возможности разбудить их, чтобы заставить раздвинуться. Одно средство — лечь сверху, на промежуток между двумя, и тяжестью тела мало-помалу *выдавить* свое прежнее местечко на кровати. Перевернуться на другой бок было дело несбыточное: на какой бок лег, засыпая, — с того и встанешь, проснувшись поутру.

Полы в комнатах не мылись, а вытирались кирпичом и после того высыпались песком, что лежало на обязанности воспитанников, как равно чистить себе платье, обувь, ружье и всю свою амуницию. Чесотка, цинга, зоб, простуда были господствующие болезни, особливо последняя <...>. Как было не простудиться даже неизнеженному крепкого телосложения взрослому воспитаннику? Второй батальон помещался в деревянных казармах, нештукатуренных, складенных на мхе, рота — в отдельной казарме; печи топили один раз в сутки даже в самые жестокие морозы, обыкновенно за час до света, отчего ночью было холоднее, нежели днем. Одежда из солдатского шинельного сукна — не на каждого воспитанника, а одно на кровать — не могли согреть ночью в холодных казармах, притом экономно отапливаемых. Шинелей не было, и не позволяли иметь собственных. Отхожие места устроены отдельно, в которые ходили чрез открытый двор. Считаю излишним объяснять, в чем ходили в отхожие места ночью

полусонные воспитанники, у которых даже одеяла были не на каждого, а мундир и принадлежности к нему лежали на столе, сложенные в требуемом порядке симметрией по распоряжению начальства, за чем строго наблюдал старший в камере унтер-офицер и дежурный по роте — и это в Петербурге, где зимой бывает до 30 градусов мороза! Обедали и ужинали в общей зале с кадетами, в которую нужно было пройти улицей более ста саженей и потом холодными коридорами поротно, строем, рота за ротой. Какая бы ни была погода — дождь, метель, сильный мороз, хочешь ли, не хочешь есть — иди непременно; а сядешь за стол — зимой холодно, во всякое время года голодно, крайне невкусно и нечисто изготовлено, особенно ужин. Зато госпиталь Дворянского полка был наполнен больными воспитанниками донельзя <...>, а Маркевич за свое короткое управление скопил миллион рублей — *благоразумной экономией*^[11]. <...>

Воспитанникам Дворянского полка давали мундир, штаны и краги на один год, и белые парусинные штиблеты — на лето; две пары сапог толстой кожи, сшитых без мерки, что называется, на живую нитку, вместо которых большая часть воспитанников носили собственные, на заказ сшитые. Рубахи, подштанники с длинными пришивными бумажными чулками и простыни переменялись сперва один раз в неделю, а уже впоследствии два раза (по воскресеньям и средам).

От тесноты помещения и других причин в 1815 году завелась чесотка у всех воспитанников Дворянского полка, в большей или меньшей степени у одного противу другого. Очистили особое помещение в казармах под названием *карантина*, куда помещали одних тех, у которых чесотка распространилась по всему телу, а у кого она была только на одних кистях рук, те оставались в своих ротах и только ходили в

особый отдел карантина мыть руки в щелоке и принимать внутрь серный порошок. У некоторых чесотка доходила даже до злокачественных ран; таких отправляли в госпиталь. Зараза продолжалась до 1817 года. Она начала ослабевать, когда стали чаще менять белье, мыть полы, когда помещение в казармах пришло в то нормальное положение, что кровать была уже на одного воспитанника; а также тогда, когда число воспитанников Дворянского полка уменьшилось выпусками в офицеры <...> и гораздо меньшей прибылью вновь определяющихся, по распространившимся слухам о дурном содержании воспитанников: случилось, что один воспитанник, Мячиков, застрелился с отчаяния, что оставлен от выпуска по малому росту и должен пробыть еще один год в том месте, которое сделалось ему уже невыносимым, — застрелился из казенного ружья. <...> Об этом происшествии многие воспитанники писали своим родным, а те разнесли по своим соседям, и таким образом узнала почти вся Россия. <...>

Определившись в ноябре 1815 года, с апреля 1816 года я уже участвовал во всех ротных, батальонных и полковых учениях. В том же 1816 году брат выпущен офицером в Нарвский пехотный полк, квартировавший в то время в Полтавской губернии. Год прошел для меня едва заметно — тяжелый для новичка слабого здоровья по климату, непривычке к строгой военной дисциплине, тесноте помещения — вообще по дурному содержанию в то время в Дворянском полку. Кормили нас нельзя сказать, что недостаточно. Супу или щей давали вдоволь — сколько бы кто ни требовал себе; но о них можно по справедливости выразиться пословицей: «За вкус не берусь, а подавались горячи». За щами, супом следовала говядина (вареная) — около четверти фунта на человека — обрезная, жесткая, разжевать которую требовались добрые зубы, а переварить — исправный

желудок. Второе блюдо было под названием соуса... с пребывания моего в Дворянском полку я не могу есть ничего, приправленного соусами, как бы ни был голоден. Последнее блюдо было — кусок пирога, или по четыре пышки <...> — сносное блюдо, но которое не могло утолить голод воспитанника после четырех-пятичасового ученья на плацу, по безвкусию других кушаньев. Но это обед, а ужин состоял из тех же пустых щей или супу и пирога с гречневой кашей, получившего название «пирога с навозом», — ужин, от которого даже крайне голодный готов был отказаться, а тем более ради его идти в ненастье или трескучий мороз в 9 часов вечера в холодную залу: «игра не стоила свечей». По вторникам на ужин вместо «пирога с навозом» подавали гречневую кашу (крутую и размазную) и к ней ложки по две топленого масла. Кашу ели немногие, а большей частью захолаживали доставшееся масло квасом на тарелке, потом сбивали ложкой пока побелеет, и ели с хлебом там или же уносили с собою в казарму, оставляя на завтрак. Хлеб был постоянно хороший, а квас — довольно сносный напиток, когда нет лучшего. Хлеба давали достаточно — один большой хлеб на десятерых, а квасу — пей за обедом и ужином, сколько кому угодно. На завтрак — несколько меньше хлеб и ничего больше.

На содержание кадета отпускалось из казны столько же денег, как и на воспитанника Дворянского полка. Для кадет готовили те же блюда, на той же кухне и те же повара, но не знаю почему, нас кормили гораздо хуже, нежели кадет. В столовой зале помещалось около тысячи человек; но как в одном Дворянском полку было более двух тысяч воспитанников, то кадеты ходили постоянно за первый стол, а два батальона Дворянского полка и Дворянский кавалерийский эскадрон — за второй, третий и четвертый, чередуясь между собой понеделно. На

первый стол подавали все кушанья вкуснее и чаще изготовленные; выбирали лучшую говядину и большие куски, оставляя худшую для второго, третьего и четвертого столов, подливая в щи, суп и соусы теплой воды — до безвкусия. У двух рот, сидевших на середине залы, были ложки, солонки и бокалы (для питья квасу) серебряные, а у последних, которые сидели за ними, — оловянные. Столы стояли в четыре ряда — в длину столовой, каждый стол для 11 человек и двух унтер-офицеров, а весь ряд столов для одной роты, с необходимыми промежутками для разноса кушанья; посредине между двух рот был оставлен широкий промежуток, по которому ходили дежурные по полку и батальону, для порядка и тишины во время обеда и ужина. <...>

При мне воспитанники Дворянского полка и Дворянского кавалерийского эскадрона несколько раз сговаривались ничего не есть за обедом и ужином, кроме хлеба с квасом, и так держались по несколько дней, пока не подадут вкуснее и чище изготовленных кушаньев. <...>

С объявлением выпуска в офицеры формировали новую гренадерскую роту, из мушкетерских рот того же батальона. Чтобы попасть в гренадеры, была необходима рекомендация ротного начальника о хорошем поведении и знании фронтовой службы — сколько требуется от нижнего чина, и особо выдержать экзамен, которым требовалось бегло читать по-русски, писать под диктовку без ошибок, первые четыре правила арифметики с дробями и рекрутскую школу. И этот легкий экзамен был камнем преткновения для некоторых; так что они засиживались в мушкетерских ротах года по три и по неспособности к военной службе увольнялись с четырнадцатым классом. <...>

В феврале 1817 года я произведен в гренадеры. Гренадерской ротой второго батальона командовал

капитан Щепин, небольшого роста, болезненный человек, за всем тем энергический, хладнокровный, настойчивый. Несмотря на то, что гренадеры уже прошли солдатскую школу еще в мушкетерских ротах, Щепин мучил нас постоянно длинным ученьем; до начала батальонного ученья наша рота уходила с учебного поля последней, нередко часом-двумя позже других рот. Каждый ружейный прием, каждое казавшееся ему не отлично сделанное построение он повторял по несколько раз сряду, пока, бывало, не добьется до своего — как ему хотелось, настаивая терпеливо, с постоянной улыбкой на устах и говоря при этом: «Не знаю, кто скорее устанет — вы ли, господа, исполняя мою команду, или я, командуя вами!» Он мучил себя и нас долгим ученьем, конечно, из желания отличиться пред другими ротными начальниками; но мне, а может быть, и другим метода его ученья пригодилась или принесла большую пользу впоследствии, когда я командовал ротой. На бывших смотрах в первой половине июня 2-я гренадерская рота признана первой в Дворянском полку во всем, до фронта относящемся. Сначала мы не полюбили Щепина; но скоро примирились с ним за его вежливое обращение, справедливость к нам.

В 1817 году смотрел Дворянский полк цесаревич Константин Павлович и остался очень доволен его ученьем, а вскоре за ним — государь император. <...> На третий день после смотра объявлен выпуск в офицеры из Дворянского полка (второй в 1817 году) — 300 человек. Всех гренадер (двух рот), унтер-офицеров и фельдфебелей, готовившихся к выпуску, было более 500, почему многие должны были остаться еще на год в Дворянском полку, или до следующего выпуска, в числе которых и я, *обракованный* по малому росту и детскому телосложению, — что было справедливо по моим настоящим летам.

При сформировании новой гренадерской роты я произведен в унтер-офицеры в 5-ю мушкетерскую роту, которой командовал капитан Вильк — оригинал своего рода. Его кадеты не уважали и не боялись, прозвали козлом. Отчасти он и походил на козла, когда, бывало, задумает принять на себя военный вид пред фронтом своей роты, *натопырится*, отдавая приказание своему подчиненному, достаивая его ответом своим; но, быть может, эта кличка дана ему и *по другой причине*, более или менее основательной.

В конце января месяца 1819 года объявлен выпуск в офицеры из Дворянского полка 500 воспитанников, в числе которых, наконец, вышел и я, пробыв в нем три с половиною года. В марте повели нас в Зимний дворец в кадетской форме, поместили в Георгиевском зале. Осмотрев нас, государь император поздравил всех прапорщиками. В то время мосты были разведены; нас посадили на какое-то судно и высадили противу дворца. То же судно перевезло нас обратно на Петербургскую сторону. Переезжая Неву, в первый раз я видел пароход на ходу, в то время едва ли не единственный во всей России.

Обмундировав в офицерскую форму, нас снова водили в Зимний дворец. В оба раза незабвенной памяти государь император Александр Павлович был весел, несколько раз прошелся по рядам воспитанников и так был милостив, что разговаривал со многими. В последний смотр сказал нам: «Прошу вас, господа, служить хорошо, усердно заниматься своим делом! Я дорожу офицерами — воспитанниками корпусов, и если кто из вас будет нуждаться впоследствии, то пишите ко мне откровенно, в собственные руки». Крайняя нужда предстояла впереди многим, но, по пословице: «До Бога — высоко, а до царя — далеко», кто бы из нас осмелился писать <...>?! О производстве моем в прапорщики с

назначением в Полоцкий пехотный полк состоялся высочайший приказ 15 апреля 1819 года...

Дворянский полк в царствование Александра I.

Из воспоминаний Е. И. Топчиева // Русская старина. 1880. Т. 28. № 8. С. 639-648.

Д. И. Завалишин

Из воспоминаний

Морской кадетский корпус. 1816-1822 годы

...В МОРСКОЙ корпус, хотя и «шляхетный», требовавший доказательства столбового дворянства, поступали тогда, однако же, преимущественно дети дворянства мелкопоместного, где более, нежели у кого-либо, развиты были привычки и злоупотребления крепостного права и где маленький барич, находясь постоянно среди мальчишек дворни, привык ко всякого рода своевольной расправе с ними. Вот почему иной из старших воспитанников, в то же самое время как жаловался на телесное наказание, которому подвергся от офицера, нещадно избивал какого-нибудь младшего воспитанника, особенно новичка, за то, что тот худо вычистил ему сапоги или пуговицы (на куртке) или недостаточно сбегал туда, куда его посылали. Старший дежурный по корпусу, имевший надзор над кухней, хвастался, бывало, что он «обломал» свой тесак (знак дежурного) о старшего повара (даром что старшие повара были один 14-го, а другой даже 12-го класса <по Табели о рангах>) за то, что поймал его в воровстве провизии; но это делал он не для общего улучшения стола, а чтобы заставить этого же повара сделать из той же казенной провизии завтрак для него, дежурного, и его приятелей.

Грубость нравов выражалась вообще в пристрастии к дракам, и частным, и общим; редкий выпуск не мерился с другими в общей свалке на заднем дворе, и было всегда много «стариков» или *чугунных*, которые хвалились искусством озлоблять начальников и

хвастались бесчувственностью к наказаниям, подвергаясь им иногда совершенно добровольно и безвинно, только из одного молодечества.

«Старики» считали обязанностью отличаться от других и в одежде, и в манерах. Они отпускали длинные волосы, пока не остригут их «на барабан»; ходили вразвалку и с расстегнутой курткой, выставляя из-под нее красный платок. При наказаниях они не только считали за стыд просить прощение, но считали еще молодечеством грубить наказывавшему офицеру. Принять на себя чужую вину было с их стороны делом не сострадания или самоотвержения, а также хвастовством, в видах особенного «соблюдения достоинства», и нередко случалось слышать, как иной «старик» говорил провинившемуся и ожидавшему наказания: «Ты поди-ка разрюмишься, да станешь еще просить прощения у Н. (особенно если офицер был нелюбим). Эдакая дрянь! Ну скажи, что это я!» <...>

Как ни странно это покажется, а некоторые *чугунные* доходили до того, что серьезно занимались приучением себя к наказанию и исследованием, как бы найти средство для уменьшения боли, намазываясь разными составами. Особенно ревностно этим занимались, когда приготавливались такие события, как, например, «корпусные бунты», за которыми знали, что последует неминуемо наказание. Эти «бунты» заключались в общем мычанье в зале, в стуке ножами и тарелками, и главное — в бомбардировании кашей эконома. При этом наперед распределялись роли. Бомбы делались из раскатанного мякиша черного хлеба, а внутри клали жидкую кашу; для метания назначались наиболее искусные, которые заранее в том и упражнялись; но вину и ответственность брали всегда на себя известные лица из *чугунных* или «стариков».

Право старших воспитанников требовать различных услуг от младших <...> не могло не подавать повода к

большим злоупотреблениям и силы, и старшинства в Морском корпусе при смешении в ротах и в камерах всех возрастов, от выпускного гардемарина, бреющего уже усы, до новичка кадетчика, нередко не достигшего еще и 10-летнего возраста. Офицеры всеми мерами старались противодействовать этому, но имели мало успеха, потому что потерпевший никогда не смел жаловаться; он знал, что тогда его стали бы преследовать все старшие воспитанники. Гораздо более имели на то влияния «старшие» вроде фельдфебелей в ротах и в частях.

Вообще, можно смело сказать, что в тогдашнее время нигде состав офицеров не был так хорош, как в Морском корпусе, и нигде вдобавок офицеры не были так соединены и единомышленны. Этому содействовали в особенности два обстоятельства: общий стол у офицеров и обычай собираться на вечерний чай у старшего дежурного офицера. Картам не было тут места, а занимались исключительно беседой и, разумеется, прежде всего событиями в корпусе и вопросами, относящимися к нему в учебном и воспитательном отношении. Тут очень свободно и откровенно обсуждали действия всех, даже нередко в присутствии того, чьи действия разбирались. Все несправедливое, бесполезное, особенно увлечение раздражением, беспристрастно разбиралось и осуждалось, и если, несмотря на это, многие, очень даже добрые по сердцу, употребляли телесное наказание, то единственно потому, что считали его в некоторых случаях необходимым и что это была общая система. <...>

Систему телесных наказаний поддерживало неимение другого рода наказаний. Не было даже карцера, и для крупных проступков помимо телесного наказания не было другого исхода, кроме исключения из корпуса, что, однако же, было равнозначительно

совершенной потере карьеры. Потому не один отец и не одна мать сами упрашивали, чтобы наказали их детей, как хотят, только бы не «губили» выключкой из корпуса, ибо в таком случае дети, воспитывавшиеся даром и обеспеченные в будущем, «легли бы снова им на шею», что для бедного (почти без исключения) дворянства было бы большой тягостью, часто и вовсе не по силам. Впоследствии, когда открылась возможность переводить ленивых и неспособных в учении и дурных в поведении, а между тем устарелых уже по летам в Дворянский полк, иначе называемый Волонтерский корпус, телесные наказания в Морском корпусе значительно уменьшились, отчасти и потому, что корпус мог постоянно очищаться от таких воспитанников, которые наиболее заражали дурным примером. К несчастью, явилось при этом другое зло. При тугости карьеры в морской службе (вспомним, что даже М. П. Лазарев был в 30 лет еще только лейтенантом) и легкости, напротив, выслуги в армии, при происходивших тогда частых реформировках в войсках перевод в Дворянский полк, где не было притом почти никакого надзора, стал представлять слишком соблазнительный пример при виде выключенных, а между тем дослужившихся скорее нежели хорошие воспитанники до офицерского звания, и в этом качестве являвшихся в корпус в среду бывших воспитанников. Последствием этого было то, что прежде дурно учились одни гардемарины, по уверенности, что так или иначе, а будут через три года офицерами, а тут стали учиться дурно и кадеты, зная, что в крайнем случае будут переведены в Волонтерный корпус, чего многие втайне и желали, вопреки воле родителей. <...>

Устроить порядок в обучении стоило в то время в корпусе неимоверного труда: одних штатных воспитанников было тогда 700 человек; но по доброте

директора было много и сверхштатных, содержавшихся за счет экономии от отпуска по праздникам. Кроме того, у иных офицеров жили их родственники, а у других, равно как у некоторых учителей, были еще пансионеры, которым дозволялось ходить в классы. Каждый из трех гардемаринских выпусков имел по четыре параллельных класса; число же учебных предметов в старшем выпуске доходило до двадцати. У кадет же в то время не было вполне определенных классов, и каждый воспитанник, смотря по успехам в каком-либо предмете, мог находиться по одному предмету с одними учениками, а по другому — с другими. Особенно для языков не было определенных классов, даже и для гардемаринских выпусков, и часто в одном и том же классе находились и готовящиеся к выпуску из корпуса старшие гардемарины, и маленькие кадеты, если они знали достаточно языки по домашнему воспитанию. Все это делало расписание по дням, часам и по учителям для каждого ученика огромной и чрезвычайно сложной работой <...>. К этому должно прибавить, что <...> в то время ученье шло по восемь часов в сутки, от 8 часов утра до полудня, и от 2 до 6 после полудня; весной и осенью утренние часы были от 7 до 11. <...>

Скажем теперь и о директоре Петре Кондратьевиче Карцове, полном адмирале, члене Государственного Совета и сенаторе. В 80 лет, конечно, не от всякого человека можно требовать и ожидать внешней деятельности, но он был высоко честен и с глубоким желанием справедливости. Он много помогал родственникам, и притом дальним, а собственный стол его был так скуден, что он до назначения в сенаторы и получения вследствие этого прибавки жалованья не решался даже и по праздникам приглашать офицеров к себе на обед, потому что стол их был положительно лучше его стола. Ошибка его заключалась в том, что он, подобно многим другим лицам из начальствующих,

думал, что родственники его, им облагодетельные, будут честно служить ему и пояснять ему справедливо все то, чего он по летам своим не мог уже лично наблюдать и исследовать. Разумеется, иные употребляли во зло его доверие, представляя ему всякое дело сообразно со своими личными видами. Но если находился человек, решавшийся представить дело на обсуждение ему самому и мог объяснить ему все справедливо и с достаточными доказательствами, то Петр Кондратьевич всегда решал дело по справедливости, несмотря ни на какое лицо и ни на какие посторонние отношения. <...>

Я был определен в Морской корпус кадетским офицером и преподавателем через год по выпуске из корпуса и вопреки желанию <...>. Мое собственное желание стремилось тогда, напротив, к походам, к действительной морской и боевой службе; тем более, что все командиры отправлявшихся кругом света судов охотно желали иметь меня в числе своих офицеров. Но отец строго запретил мне отказываться от приглашения: «Походы не уйдут от тебя, — писал он, — ты так молод еще, что у тебя слишком много времени и для походов; а честь, которую тебе делают, приглашая тебя в таких летах, как твои, и едва выпущенного из корпуса, быть воспитателем и учителем твоих сограждан, и притом тех, которые были твоими товарищами, а многие еще и летами старше тебя, — это честь небывалая, и я формально запрещаю тебе отказываться». Делать было нечего; надо было повиноваться отцовской воле; но так как я не искал сам полученного мной назначения, то это создало мне вполне независимое положение в корпусе. <...>

По званию кадетского офицера я получил свою определенную часть воспитанников, более 30 человек, и вечером, по возвращении кадет и гардемарин из классов, бывал постоянно каждый день в своей части. Я считал своей обязанностью следить за успехами

вверенных мне воспитанников, от маленького кадета, находящегося еще в классе, соответствующем нынешним приготовительным, до гардемарина, готовящегося к выпуску из корпуса. Я старался всяческими разными объяснениями противодействовать одностороннему способу механического заучивания. После этого, конечно понятно, что в своем собственном классе, где я был преподавателем астрономии и высших математических наук, я уже никак не мог сообразоваться с односторонней системой инспектора <Марка Филипповича Горковенко>, состоявшей в буквальном заучивании всего по книге, без права даже расставить иначе буквы на чертеже.

Марк Филиппович пробовал спорить со мной, но я твердо сказал ему, что иначе учить не буду; тогда он решился пожаловаться директору. Если б он оспаривал только методу, то директор, может быть, и не стал бы входить в разбирательство, и мне, вероятно, пришлось бы отказаться от класса, но на беду свою Марк Филиппович этим не ограничился, а, желая усилить обвинение, решился сказать несправедливую вещь и чрез то и проиграл дело. Он сказал, что вследствие такой методы ученья у нас в классе ничего не знают. Директора это удивило, но он не сказал инспектору ни слова и отвечал только, что сам спросит учеников.

В тот же день вечером он призвал нас к себе и сообщил жалобу инспектора. Опровергнуть его показание было не трудно; у нас в классе всегда отмечались посещения инспектора, кого именно он спрашивал, какие вопросы и задачи предлагал, и вместе с тем отмечалась правильность решения. Мне легко было доказать, что *не было примера*, чтобы ученик нашего класса не решил правильно и быстро задачи, заданной инспектором, и не ответил в сущности правильно, хотя и не по книге. <...>

Директор вполне убедился, что справедливость была на моей стороне, и потому очень ласково отпустил меня, сказав, что с инспектором он уладит дело. На другой день при утреннем рапорте он сказал инспектору, что <...> в виде опыта предоставит мне свободу в преподавании по той методе, какой я следовал до сих пор. <...> Выпускной же экзамен блестящим образом оправдал наш класс: из 15 произведенных в унтер-офицеры от гардемарин 9 человек пришлось на наш класс. Марк Филиппович и после этого не хотел, однако, сознаться в поражении относительно методы, а решился скорее сказать мне комплимент, лишь бы спасти свою методу. Он уверял, что успехом наш класс обязан не методу обучения, а неутомимым занятиям моим, чего нельзя требовать от всех учителей, и что, кроме того, не всякому учителю можно позволить «мудрить по-своему» и проч.

Другое столкновение было у меня с большинством офицеров, в качестве экзаменаторов. Я сказал выше, что большим злом в Морском корпусе было требование, чтобы для укомплектования флота ежегодно выпускалось известное число мичманов, — требование, породившее между воспитанниками убеждение, что всякий, кто произведен в гардемарины и сделал три кампании, будет уже, в силу необходимости, произведен и в мичманы, как бы ни были плохи его познания. Это было существенное зло для корпуса и явная несправедливость относительно хорошо учившихся. <...>

Прибавим, что число учебных предметов было чрезвычайно велико в последний год пред выпуском.

Некоторые предметы, даже не входящие в состав собственно морских наук, как, например, артиллерия и фортификация, проходились пространно, как в специальных для этих предметов заведениях. Курс артиллерии был у нас даже обширнее, потому что

кроме полевой и крепостной артиллерии обнимал и морскую, саму по себе весьма обширную, которая не преподавалась в сухопутном Артиллерийском училище. Но все эти требования налегали всей силой только на лучших учеников; остальные плелись, как хотели, особенно по предметам, не относившимся к морской службе. Достаточно сказать, что в одном из выпускных классов учитель истории считал, что от двух учеников, которых прозвал «Геркулесовыми столбами», нельзя было и требовать, чтобы они знали больше того, как «кто был в России первый князь, первый царь и первый император». Вследствие такого послабления, естественно было, что когда наступали экзамены, то опять-таки строго и подробно из всех предметов экзаменовали только хороших учеников. Для отметок баллы тогда не употреблялись, а приняты были выражения: отлично хорошо, весьма и очень хорошо, хорошо, довольно хорошо, посредственно; при этом получивший отметку «посредственно» выпускался также в мичманы, как и те, кто получал отметку «отлично», только, разумеется, ставился ниже в выпускном списке, в каком порядке считалось и старшинство при производстве.

Самый важный экзамен, определявший старшинство, единственное преимущество хорошего ученика, был свой, домашний. Экзаменаторами были кадетские офицеры, но отнюдь не учителя; исключение делалось для офицеров, бывших преподавателями, но и они не экзаменовали учеников своего класса. Все офицеры составляли одну экзаменационную комиссию под председательством помощника директора. Имена экзаменовавшихся клались в урну, и общее число их (от 80 до 90 человек) разделялось на число офицеров (от 20 до 22); на каждого приходилось, следовательно, почти всегда по четыре человека, которых имена он и вынимал из урны. Только в том случае, если офицер был

вместе и преподаватель и ему доставалось имя ученика из его класса, он клал такой билет назад в урну и вынимал другой. Экзамен вообще продолжался почти два месяца, и на домашнем экзамене спрашивали, как говорилось, *от доски до доски*.

Случилось так, что в вынутых мной билетах попались имена двух весьма плохих учеников, но, как нарочно, один был сын, а другой племянник весьма значительных лиц. Убедясь в их плохом знании, я вместо употреблявшихся обычных низших отметок написал просто против их имен следующее: «Не имеют познаний, необходимых для морского офицера».

Лишь только это сделалось известным, как экзаменаторы и воспитанники пришли в волнение. Председатель экзаменационной комиссии возражал, что я не имею права вводить новые отметки и только «напрасно завожу беспокойства», ибо дурно отмеченных все-таки произведут, сколько по принятому обычаю, столько же и из уважения к их родным. Я отвечал, что употребляемые отметки не основаны ни на каком формальном постановлении, а дело обычая; что могут представить забракованных мной к производству, но я своей отметки не переменю.

Тогда решились действовать на директора. Что и как ему говорили, я не знал, да и не пытался узнавать; но только меня позвали к директору. Я нашел его в веселом расположении духа <...>. «Что это ты, брат, затеял ты там, — сказал он мне, смеясь. — Ты, говорят, хочешь, чтобы каждый мальчишка был ученым астрономом; <...> я верю, что ты поступил с хорошим намерением и с желанием пользы; но вот твои товарищи экзаменаторы говорят: отчего же только у тебя одного нашлись негодные к выпуску?» Я отвечал, что если хотят этим сказать, что отметка моя несправедлива, то я берусь доказать при всех, что забракованные мной гардемарины действительно не

имеют самых необходимых для морского офицера познаний и что и у других экзаменаторов найдутся не только такие же, но и такие, которые знают еще менее экзаменовавшихся у меня. Поэтому я просил приказать экзаменовавшихся у меня проэкзаменовать снова в присутствии всей комиссии. Что касается аргумента, что известное число нужно для укомплектования флота, то ведь я и не предлагаю оставить слишком значительное число; а человек пять, для примера, не составят большой разницы в счете.

Директор выслушал внимательно и терпеливо; походил немного, подумал и сказал наконец, что находит требование мое справедливым. Кроме забракованных мной, я указал еще на двух экзаменовавшихся у других экзаменаторов. Все эти гардемарины были снова проэкзаменованы пред всей комиссией, и комиссия принуждена была вполне согласиться с моим заключением. Таким образом, эти четыре гардемарина и не были произведены в мичманы. Это имело большие последствия. Самые отъявленные лентяи принялись за ученье, и тот гардемарин, на которого как на не одаренного хорошими способностями я указывал директору, вышел на следующий год <...> и потом, будучи уже офицером, благодарил меня при встрече, что я заставил его учиться и сделаться чрез то дельным офицером. <...>

Морской корпус имел, конечно, большие недостатки, особенно если судить по понятиям теперешнего <1873 год> времени, но справедливость требует сказать, что эти недостатки были тогда общие всем учебным заведениям и в других обнаруживались в гораздо большей степени. К недостаткам, не зависевшим от корпусного начальства, следует отнести посредственность большей части учителей, кроме преподавателей математики и морских наук, вследствие скудости окладов. Затем бесспорным была

грубость нравов, проистекавшая главным образом от домашнего воспитания тогдашнего небогатого дворянства <...>; далее, смешение всех возрастов в камерах, подававшее повод и случай к злоупотреблению силы; отсутствие всякого поощрения ввиду безвыходности карьеры вследствие упадка флота, не предоставлявшего в то время даже перспективы прежних заграничных походов; скудость учебных средств, и наконец, выше объясненное зло необходимого пополнения комплекта флота, обеспечивавшего всем гардемаринам производство в мичманы после трех кампаний.

Признавая все это, мы должны, однако же, сказать, что в то же время было в Морском корпусе много и хорошего, даже такого, каким не многие заведения могут и ныне хвалиться. Не было изнеженности; со стороны начальствующих честность и справедливость были развиты в высшей степени, было старание доставлять для ученья многое, чего не давали корпусные средства, а со стороны учеников у многих была развита охота к ученью независимо от всех внешних побуждений и вопреки отсутствию многих средств и удобств для занятий. Было, наконец, общее уважение к ученью и науке, даже и у тех, кто вовсе не заботились сами для себя об ученье. Каждый выпуск гордился своими хорошими учениками, и ничто не было так обыкновенно, как слышать самых отъявленных шалунов и лентяев, унимающих друг друга и говорящих: «Не шумите, братцы! Наш *зейман* сел заниматься»; или: «Ну пойдемте же отсюда, а то будем мешать нашему *зейману*», — и проч. [\[12\]](#)

Мы не знаем примера, чтобы кадеты делали подарки кому-нибудь из корпусных офицеров, да это при общей справедливости и честности ни к чему бы и не повело. Даже дети корпусных офицеров не

извлекали никакого преимущества и выгоды из того, что отцы их сами были корпусные офицеры, и притом, естественно, всегда из самых старших офицеров с другой стороны, и между кадетами не допускалось оскорблять равенство открытым пользованием такими вещами, каких менее достаточные не могли иметь. Запрещалось носить свое платье и белье; запрещалось есть в роте что бы то ни было, кроме казенной пищи; кто находил возможность пить чай или закусывать чем-нибудь, тот уходил в людскую, к комнатной прислуге.

Хотя Морской корпус был и «шляхетный» и воспитанниками в нем могли быть только столбовые дворяне; хотя было немало и генеральских, и адмиральских детей, но изнеженности не было никакой; чаю и даже сбитню и в помине не было; поутру и вечером была только пеклеванная булка с водой, но ропота на это не было. Эти булки, равно как и ржаной хлеб и квас, славились в Петербурге, но обед из трех блюд и ужин из двух с неизменной в числе их гречневой жидкой кашей были незavidны; питья вне обеда, кроме воды, не было ничего. Лазарет был, однако же, в очень хорошем положении, и во все время мы помним только один случай смерти, и то от ушиба. Шинели и фуражки были холодные; калош или теплой обуви, само собой разумеется, не было. На часах в карауле отстаивали по два часа. Учились зимой от 8 до 12 часов, весной и осенью от 7 до 11; после обеда всегда одинаково — от 2 до 4. Прилежным ученикам дозволялось заниматься и после 9 часов до 11 ночи в дежурной комнате. Вставали в 5 часов всегда; в 6 была молитва и завтрак, в 7 — классы, а зимой репетиция уроков до 8, а в 8 шли в классы. В 12 часов обедали и в 5 часов завтракали, в 8 ужинали; в 9 молитва и ложились спать. В 10 часов, в 12 и в 2 часа ночи ходили дозором по всему корпусу дежурные по корпусу офицеры и гардемарины.

В корпусе была хорошая библиотека, но составлена она была не из корпусных средств, а, вероятно, из случайных приношений, и потому не совсем пригодна была для воспитанников. Но как старались зато иногда офицеры достать какую-нибудь хорошую книгу и дать прочесть ее воспитанникам; с какой охотой воспитанники, в свою очередь, собирались в кружок, чтобы слушать чтение какой-нибудь исторической или другой полезной книги! В корпусе был и физический кабинет, а физике и химии учил сам М. Ф. Горковенко. Как хлопотал, бывало, он, чтобы выпросить денег на какой-нибудь новый инструмент! <...>

Занятие предметами, не состоящими в обязательной программе, тем было замечательнее, что в последние годы пред выпуском из корпуса и обязательных предметов было множество, и между ними немало так называемых головоломных, как, например, высшая математика (дифференциальное и интегральное исчисление), астрономия, теория морского искусства, кораблестроение и проч.

Как же на все это доставало тогда времени, и мы не жаловались на трудности занятий, при недостатке руководств и пособий, при отсутствии удобства для занятий и при учителях, не всегда преданных делу и строго ограничивавшихся формальной обязанностью, так что весьма немногие допускали просить у себя объяснений, особенно вне классного времени?

Дело в том, что тогда не слишком торопились пользоваться удовольствиями и наслаждениями; воспитанники не знали отпусков по будням, и даже в праздничные дни отпускались только к надежным родственникам, да и то требовались личный приезд или присылка надежного лица с письмом, а возвращение в корпус было обязательно в 7 часов вечера накануне учебного дня. И ни один предмет, может быть, не подвергался так часто обсуждению, как отпуски из

корпуса; и каждый раз, когда заявлялось требование об ослаблении строгости по сему пункту, решение было отрицательное на том основании, что для людей с недостаточными средствами, как большая часть воспитанников Морского корпуса, недоступно посещение таких мест, где они могли бы получить пользу или благородные удовольствия, и потому дозволение отпусков неизбежно ведет к посещению таких мест, от которых, кроме вреда, ничего ожидать нельзя.

Несмотря, однако же, на всю строгость в этом отношении, для лучших учеников было исключение. Им дозволялось ходить на физические опыты, посещать Академию художеств, Медико-хирургическую <академию>, Кунсткамеру, Горный музей и проч. Летом остававшиеся в корпусе в тот месяц, когда не были в походе <...>, отпускались гулять на острова, на взморье. В походе на корпусных фрегатах осматривали Кронштадт, Петергоф, Ораниенбаум и проч.

Относительно здоровья заботы были немалые, особенно в сравнении с другими заведениями. Кровати в Морском корпусе были железные, белье менялось каждую неделю; каждый год полы и стены красились и белились; по уходе в классы воздух в дортуарах очищался; всю ночь горели лампы; в баню ходили каждую неделю, и каждый первый понедельник месяца происходил медицинский осмотр. Не было тоже недостатка в упражнениях для мочиона. Танцкласс в субботу был обязателен для всех, и даже в отпуск воспитанники редко отпускались до окончания танцевального класса. Фронтное ученье и обучение ружейным приемам были также обязательными <...>. Фехтованье и музыка были не обязательны, но обучение этим искусствам было даровое. <...>

На Рождестве и на Новый год были балы, на которые приглашались родственники, а летом все гардемарины

были по месяцу в походе на фрегатах, где, разумеется, были в постоянном движении и пользовались чистым воздухом, а стол имели отличный и получали чай.

В течение двух месяцев, с 1 января по 1 марта (а если торопились выпуском, то с 15 декабря по 15 февраля), шли непрерывные экзамены разного рода. Самый первый, чрезвычайно подробный был, как сказано выше, экзамен домашний; он был и самый важный собственно для воспитанников, потому что определял старшинство в списке производства; но следующие экзамены были важны для корпуса, для его репутации. Из них первый был математический и морской теоретический, для которого являлись члены Академии наук <...>; затем следовал морской практический, для которого назначалась особая комиссия, приезжавшая из Кронштадта и состоявшая из флагманов, адмиралов и капитанов, командиров кораблей; потом следовал экзамен из кораблестроения <...>; затем шел экзамен из артиллерии. Этот экзамен занимал также немало времени. Мы сказали уже выше, что у нас и полевую и крепостную артиллерию проходили очень пространно <...>, а сверх того и морская артиллерия была сама по себе очень обширна и сложна как относительно калибра и рода самых разнообразных орудий, так и по разнообразию снарядов и абордажного оружия. <...>

За артиллерийским экзаменом следовал духовный, для чего назначалась всегда комиссия от Святейшего Синода, и наконец главный экзамен, публичный, на котором присутствовали <морской> министр, почетные посетители и публика. Тут можно было предлагать вопросы из всего, но преимущественно спрашивали из физики и химии, причем делались опыты.

Производство в мичманы происходило в наше время почти всегда в исходе февраля или начале марта. Экзамены же кадет для производства в гардемарины

происходили после выпуска из корпуса, и производство бывало почти всегда в мае, пред отправлением в корпусный поход.

В заключение не лишним будет упомянуть и о том, что в наше время были в Морском корпусе своеобразные обычаи, которых не было, кажется, ни в каком другом заведении и происхождение которых было бы трудно разъяснить с точностью. На Страстной неделе, например, при выносе плащаницы выбирались двенадцать лучших воспитанников, которые представляли двенадцать апостолов, и шли непосредственно за плащаницей. Сверх того выбирались еще семьдесят, представлявших такое же число апостолов, и наконец выбирались так называемые «жиды», содержавшие караул при плащанице. Непонятно, почему они носили название «жидов», вопреки ясному преданию Евангельскому, что стражу при гробе Господнем составляли римские воины; но замечательно, что в «жиды» выбирались преимущественно взрослые и смуглые, и почти всегда из «стариков». Их point d'honneur^[13] был в том, чтобы стать при плащанице (их ставилось четверо, по четырем углам) во время служения, по возможности неподвижно, как статуи. Обычай и привычка делали то, что такие странные возгласы дежурного, как, например: «Господа апостолы, пожалуйста на смотр» (они должны были быть одеты безукоризненно); «Господа жиды, берите ружья к смотру», — не возбуждали никакого внимания. При плащанице «жиды» стояли как по команде «на молитву», то есть сняв кивера и приставив ружья к ноге.

Завалишин Д. Воспоминания о Морском кадетском корпусе с 1816 по 1822 год // Русский вестник. 1873. Т. 105. № 6. С. 623-655.

А. И. Зеленой
Из воспоминаний
Морской кадетский корпус. 1822-
1826 годы

...Я вместе с двумя моими братьями поступил в Морской кадетский корпус 6 марта 1822 года. Мне было 12, а младшему брату не было еще и 10 лет. <...> Нас поместили в пятую роту, которой командовал капитан-лейтенант князь Сергей Александрович Ширинский-Шихматов. В то время в каждой из пяти рот были и гардемарины, и «старые» кадеты, и вновь поступающие. Каждая рота разделялась на четыре отделения, называвшиеся частями, и в каждой части были воспитанники всех трех упомянутых разрядов; в пятой роте этот порядок несколько изменялся: все вновь поступающие, которые тогда обыкновенно назывались новичками, определялись в четвертую часть, в которой из гардемарин были только старший и подстарший, и никого из «старых» кадет. Этой частью командовал молодой офицер Павел Михайлович Новосильский, за год перед этим возвратившийся из кругосветного плавания к Южному полюсу на шлюпе «Мирный» под командой лейтенанта М. П. Лазарева, знаменитого адмирала, которому флот много обязан. <...> Вообще, новичкам иногда приходилось плохо, особенно из не бравых — над ними издевались и шутили самым варварским образом. В то время каждый из гардемарин мог послать кадета в другую роту, за чем ему вздумается; так, например, гардемарин посылает новичка в другую роту к такому-то гардемарину или «старому» кадету спросить и принести книгу «Дерни о пол» или «Гони зайца вперед». В первом случае

посланный, спрашивая книгу «Дерни о пол», ничего не подозревая, летит на пол, подбитый ногой гардемарина, а во втором случае посланного отправляют в другую роту к такому-то гардемарину, а этот к третьему и так далее, пока посланец не выбьется из сил. С нами, новичками четвертой части, ничего подобного не бывало, мы были под защитой Павла Михайловича, а если и случалось в классах во время перемены кто-нибудь из «старых» кадет вздумает как-нибудь посмеяться, то другой говорит: «Оставь его, он из спартанцев», — нас так называли, вероятно, потому, что мы не признавали некоторых обычаев и правил, противных здравому смыслу, но которые всеми строго исполнялись. Павел Михайлович каждый день в 11 часов утра, по выходе кадет из классов, приходил в часть, каждого кадета по очереди расспрашивал, что делал в классе, и при этом разъяснял, в чем кто-нибудь затруднялся. <...>

Князь Сергей Александрович с большой заботой следил за гардемаринами и кадетами своей роты и отличал хороших воспитанников. Прилежных и хорошего поведения он иногда призывал к себе на квартиру и угощал чаем и сладостями, беседовал о разных ученых и религиозных предметах. Он, кроме новых языков, обладал знанием греческого и латинского <...>, любил литературу и сам писал, большей частью пьесы религиозного содержания, в стихах. Он каждый день приходил в роту и беседовал с воспитанниками. По воскресеньям после обеда каждые две части кадет ставились во фронт в две шеренги, и он приходил изъяснять воскресные Евангелия. Для этого каждый гардемарин и кадет по очереди должен был сказать один стих Евангелия, и князь изъяснял его и поучал; такие поучения продолжались часа полтора и более. Если кто из воспитанников не мог сказать следующего стиха, то он, тихо упрекнув, переходил к другому.

Окончив беседу, переходил в другие две части и таким же образом поучал и остальных. Для того чтобы кадеты могли ознакомиться и выучить воскресные Евангелия, в каждой части было по несколько экземпляров воскресных Евангелий с изъяснениями, розданных князем. Значительное большинство воспитанников слушали и выучивали Евангелия с охотой. Этим поддерживалось религиозное направление между кадетами.

Во всех учебных заведениях в Великий пост стол был скромный, за исключением первой и последней недели и сред и пятниц прочих недель поста; но многие гардемарины и кадеты не только нашей роты, но и в других ротах не ели скоромного, а питались одним хлебом и квасом, которые, мимоходом сказать, всегда приготавливались превосходно; я помню, с одним гардемаринком в Великую субботу в церкви сделалось дурно, и как оказалось оттого, что он в Страстную пятницу ничего не ел. Впрочем, князь Сергей Александрович видимо не поощрял таких воспитанников. У него не было обыкновения по субботам наказывать воспитанников, как тогда называли, «подданными ленивыми», но за важные проступки в поведении и он наказывал телесно, хотя и не часто, но и это делалось неохотно, без всякого раздражения, а как бы по необходимости, и всегда увещания его сопровождались ласкательным словом «друг мой», и наказанные всегда сознавали законность постигшей их кары и не питали к нему никакой злобы.

<...>

Директор корпуса <полный адмирал Петр Кондратьевич Карцов> как член Государственного совета и сенатор имел много посторонних занятий и мало обращал внимания на корпус. Мы его видели очень редко, не более двух раз в году, и когда ожидалось его посещение, то все приходили в такую тревожную

суетливость, какой не замечалось и при посещении корпуса высочайшими особами. Деятельность ближайшего его помощника, называвшегося тогда полковником, ограничивалась, кроме хозяйственной части, тем, что по воскресеньям и праздничным дням перед церковной службой он приходил в столовый зал, где были выстроены все кадеты во фронте поротно, и, поздоровавшись с воспитанниками, проходил по фронту, после чего воспитанников вели в церковь к Божественной литургии. Только этим и ограничивалась забота главных начальников корпуса о нуждах и потребностях кадет, а потому тем более надобно отдать полную благодарность тем из второстепенных начальников, которые, руководимые только сознанием своего долга, свято исполняли свои обязанности и приносили кадетам несомненную пользу. <...> Еще весной 1825 года назначен был новый директор корпуса, адмирал Петр Михайлович Рожнов <...>. Вступив в командование корпусом, он нашел важные недостатки и неудобства в помещении кадет как в ротах, так и в классах, а равно — вполне сознавая вред, происходящий для нравственности воспитанников от совместного житья взрослых кадет и гардемарин с малолетними кадетами, почти детьми, предпринял большие переделки во внутренности корпуса <...>. Все младшие кадеты были собраны в одну роту, которая названа была малолетней, а все гардемарины и старшие размещены в четыре роты; для этого Кораблестроительное училище, которое помещалось в здании Морского корпуса, переведено в <Главное> Адмиралтейство, а в их помещениях устроили спальни для кадет малолетней роты; при ней был особенный двор и отдельные классы, так что кадеты этой роты не имели никакого сообщения с воспитанниками других рот и только виделись с ними во время обеда и ужина в столовой зале.

Начальство над этой ротой было поручено капитан-лейтенанту князю С. А. Ширинскому-Шихматову. По его выбору были назначены и офицеры. Также он набрал восемь гардемарин, в числе которых был я и оба мои брата; нас всех перевели в унтер-офицеры, и кадеты не иначе нас называли, как по имени и отчеству.

Князь с обычной своей горячностью и усердием принялся за воспитание своих юных питомцев. Убежденный, что в юных душах будущих моряков должны быть укоренены надежным образом религиозные чувства, и чтобы приучить воспитанников во всех случаях жизни прежде всего обращаться к Богу, он сообразно этому устроил и внешнюю обстановку кадетской жизни: так, заказал четыре большие иконы по одной в каждую часть; на одной иконе изображалось, как Иисус Христос благословляет детей, на другой — как Он ходит по волнам; кроме того в ротном зале помещалась большая икона Казанской Божией Матери в серебряной ризе, перед которой постоянно теплилась лампада. В этом зале каждый день собирались кадеты утром перед завтраком и вечером после ужина молиться Богу; для этого один из унтер-офицеров или кадет читал вслух утренние и вечерние молитвы, а по воскресеньям читались акафисты или Иисусу Христу, или Божией Матери. <...> Нередко и сам князь присутствовал при молении.

В преподавание учебных предметов начали вводиться новые способы, облегчающие ученье, а унтер-офицеры обязаны были ежедневно по выходе кадет из классов в 11 часов утра и в 6 часов вечера проверить каждого кадета порученного нам отделения, чем он занимался в классах. <...>

31 марта 1826 года был самый замечательный день в жизни Морского кадетского корпуса. В этот день впервые посетил корпус государь император Николай Павлович. Он приехал в корпус около трех часов

пополудни с великим князем Михаилом Павловичем и прямо прошел в классы, где тогда были воспитанники. Главным дежурным был князь Сергей Александрович, а я — дежурным унтер-офицером по лазарету. Тотчас государя встретили директор и все начальство.

Государь обошел классы, роты, лазарет, столовый зал, делая различные замечания. Шедший впереди штаб-офицер, отворяя двери, называл то помещение, куда входили; так, входя в отдельный класс, он сказал: «Танцевальный класс», — а там в это время был преподаватель Закона Божия. Обыкновенно для преподавания Закона Божия в кадетских классах соединяли <...> два класса <...> вместе, и как такое большое число кадет не могло поместиться в обыкновенной классной комнате, то и помещали в танцевальном классе. Говорили тогда, что когда сказали «танцевальный класс», то государь сказал: «Это и по учителю заметно». Также говорили, что когда великий князь Михаил Павлович воротился домой, то в кругу приближенных рассказывал, что в Морском корпусе священник учит кадет танцевать.

В 1825 году выпуска из корпуса не было, и выпускных почти целый год экзаменовали и выпустили в мичмана в феврале следующего, 1826 года. <...> Князь Шихматов в следующем году оставил службу и поступил в монастырь...

Морской кадетский корпус в воспоминаниях адмирала А. И. Зеленого // Русская старина. 1883. Т. 40. № 10. С. 89-98.

М. Я. Ольшевский **Из воспоминаний** **Первый Санкт-Петербургский** **кадетский корпус. 1826-1833 годы**

Второго сентября 1826 года, в день, назначенный для приема, матушка повезла меня рано утром в 1-й кадетский корпус и, по предварительно собранным ею сведениям, явилась прямо на квартиру директора, которым был в то время генерал-майор Михаил Степанович Перский. В приемной, указанной швейцаром, находились уже два других отрока со своими родителями или родными, явившимися с той же целью, как и я с матерью. Тут же находились два корпусных офицера и чиновник в вицмундире. Один из них, высокий, стройный, красивый, был адъютант директора — капитан <Егор Иванович> Сивербрик. Он, подойдя ко мне, спросил мою фамилию, сколько мне лет, откуда я приехал и где обучался, — и мои ответы записал в находившуюся у него в руках книжку. То же самое повторено было им и с вошедшими вслед за мною другим будущим кадетом.

Недолго пришлось ждать директора. Он вошел в залу в мундире, при шпаге и со шляпой в руке, в какой форме, как оказалось впоследствии, он являлся всегда перед кадетами, обходя классы ежедневно утром и после обеда, посещая лазарет, дортуары, рекреационные и столовые залы. Ни один кадет не видел его в сюртуке или другой одежде. <...>

Подойдя ко мне и поклонившись матери, он обратился к ней с вопросом: «Это, без сомнения, ваш сын?» По получении же утвердительного ответа и по прочтении адъютантом моей фамилии, лет, откуда

приехал и где обучался, директор обратился ко мне: «<...> садитесь вот за этот стол, и вас проэкзаменуют».

За указанным большим столом, стоявшим посередине залы, на котором стояло несколько чернильниц и лежали листы бумаги, уже сидели два будущие кадета и втихомолку решали арифметические задачи. Подошедший ко мне офицер сначала продиктовал из истории, а потом предложил несколько вопросов, касающихся продиктованного. Я хотя сообразил, что это относилось до древней истории, потому что речь шла о римлянах и карфагенянах, но не мог понять по сути, по той единственной причине, что не обучался истории, как равно был малосведущ и в географии. А потому предложенные мне вопросы остались без ответа, притом, судя по выражению лица офицера, читавшего мое писание, заключить можно было о немалом числе сделанных мной орфографических ошибок. Когда же я взглянул на экзаменатора во время проверки моей арифметической задачи, состоявшей из простых именованных чисел, далее которых мои математические сведения не простирались, то я окончательно убедился в ничтожности моих познаний. Я был совершенно смущен; слезы готовы были брызнуть из глаз, но слова подошедшего ко мне директора, говорившего с матерью и потрепавшего меня по щеке, ободрили меня: «Voyons, mon cher; j'espère que vous serez un bon cadet^[14]. По опыту могу сказать, что у вашего сына много хороших начал», — прибавил он, обращаясь к моей матери. <...> Мое переодевание было непродолжительно, и хотя нельзя сказать, что мундир и брюки хорошо сидели, но они меня мало беспокоили. Моими же мучителями, с момента облачения моего в кадетскую форму, оказались галстук и сапоги. Первый, надетый поверх рубашки, сшитой из довольно толстого

холста, давил и тер мне шею; вырезковые же сапоги с дратвенными узлами и гвоздями на каблуках жали и терли мне ноги. Поэтому не удивительно, если по выходе из цейхгауза, я со слезами бросился в объятия матери и успокоился только после совета каптенармуса: «Не плачьте, сударь: если кадеты узнают — прохода не дадут, будут смеяться».

И эти слова простого человека сильно подействовали на мое детское воображение и задели мое самолюбие. Эти слова, так сказать, выжгли мои слезы, и я даже не заплакал при прощанье с матушкой, несмотря на то, что расстался с нею до субботы. По заведенному в то время порядку, свидания с родителями и родственниками в будничные дни не допускались, и кадеты увольнялись из корпуса только по воскресным и праздничным дням, с большой разборчивостью и не иначе, как с провожатыми. Исключения делались для фельдфебелей, унтер-офицеров и кадет верхних классов, притом хорошей нравственности. Не увольнялись и такие кадеты, у которых не было в Петербурге родителей и родных, и таких затворников, не видевших Невского, Морской, Летнего сада, было немало. С новичками поступали тоже весьма строго и даже немилосердно; их не увольняли из корпуса до тех пор, пока они, кроме надлежащей выправки, не научались делать повороты и маршировать, а также носить кивер и тесак, дабы могли отдавать честь, как следует. <...>

Жизнь кадета прошлого времени, в особенности младшего возраста, уподоблялась автомату, действовавшему по барабану. Барабанный бой заставлял его просыпаться в 6 часов утра и против его желания оставлять, в особенности ежась зимой, свою хотя не мягкую, но теплую постель. Этот же бой укладывал его поневоле в постель в 9 часов вечера. По барабанному бою он нехотя, едва передвигая ногами,

отправлялся в классы; по этому же бою стремглав вылетал из класса и, сломя голову, неся, если была зима, по скользким и занесенным снегом открытым галереям. Барабанный же бой, и притом самый приятный, призывал его в половине первого к обеду, а в восемь часов вечера — к ужину; по такому же бою пелась кадетами молитва, садились они за стол и вставали с молитвой из-за стола. Даже по воскресным и праздничным дням, а также в Великий пост во время говения кадеты собирались и отправлялись в церковь по барабанному бою.

У кадет не было своей собственной воли; они жили и действовали по приказанию и команде своего начальства. А начальства у него, в особенности в неранжированной, третьей и второй ротах, было немало. В этих ротах, кроме ротного командира, его помощника, дежурных офицеров, имели право оставлять без сбитня, обеда и ужина, класть на доски, ставить в угол и даже на колени, драть за уши и давать затрещины — фельдфебель и отделенный унтер-офицер. Новичкам же и «плаксам» доставалось еще несравненно более от так называемых «старых» кадет, которые старались выказывать над ними своего рода власть и вымещать злобу. Пожалуй, в поступках таких кадет и проявлялась воля, но за то, что они осмеливались своевольничать, наказывались, а иной раз даже очень строго.

К категории «старых» кадет принадлежали лентяи, отъявленные шалуны и коноводы всех побоищ и скандалов. «Старый» кадет носил особый отпечаток и своими манерами, походкой и неряшеством бросался в глаза каждому постороннему наблюдателю. Вот наружный очерк старого кадета: ноги колесом или кривые; куртка и брюки запачканные, а иной раз и разорванные, притом у первой крючки на воротнике и несколько пуговиц по борту не застегнутые, сапоги

нечищенные, волосы взъерошенные, руки исцарапанные с грязными ногтями, кулаки сжатые, физиономия мрачная, а иной раз и подбитая, разговор грубо отрывистый, голос басистый.

За исключением гренадерской роты, как долженствовавшей состоять если не из самых прилежных, то нравственных кадет, каждая рота имела своих «старых» кадет, бывших на счету у начальства. Само собой разумеется, что меньшинство «старых» кадет находилось в неранжированной роте; наоборот же, первая рота по преимуществу состояла из таких кадет. Притом громадная разница была между теми и другими. «Старые» кадеты младших рот еще не могли считаться закоснелыми, испорченными отроками; шалости и проступки их не были так грубы и предосудительны, как проступки перворотцев.

«Старые» кадеты младших рот, кроме других непозволительных шалостей вступали иногда между собой в ожесточенный одиночный бой или дрались партиями, но не случалось, чтобы при этом они осмеливались оскорблять унтер-офицеров и фельдфебелей, а тем более офицеров. В первой же роте не раз случалось слышать, что такой-то унтер-офицер, подозреваемый в наущничестве, избит до полусмерти, а такой-то дежурный офицер ошikan и обруган, иной раз даже ротному командиру оказывалось непослушание; или распространится молва, что *сѣдѣмовцы* выгнали из класса и едва не прибили учителя. А *сѣдѣмовцы* или «рогатые» — те же «старые» кадеты первой роты, 18-летние лентяи, 8-10-вершковые верзилы, сидевшие в седьмом верхнем классе, творившие вместо учения разные безобразия и ожидавшие выпуска из корпуса в офицеры если не армейских полков, то гарнизонных батальонов. Прозвище «рогатые» они получили от кадет же, воспитывавшихся в одних с ними стенах и евших одну и ту же кашу, но только выше стоявших по

умственным и нравственным качествам. Смысл этого прозвища был тот: «что вы, дескать, братцы, глупы и грубы как рогатая скотина». <...>

Противоположностью «старому» кадету младших рот был кадет «плакса», слабый телом и духом. Таким кадетом делался тот новичок, который не был в состоянии стойко переносить щипки, пинки, затрещины, *кукуньки*, ерши и побои товарищей шалунов и распускал нюни. Если же новичок плакал так громко, что своим плачем обращал внимание начальства и что через это трогавшие его шалуны наказывались, а и того хуже, если они наказывались по его жалобе, то такой новичок становился мучеником, не имевшим покоя ни в роте, ни в классах. Его старались подводить на каждом шагу: пачкали ему платье, обрезывали пуговицы на куртке, мяли его кровать, марали и рвали книги и тетради, вместо подсказывания, доведенного до высокой степени искусства, сбивали его в ответах. Случалось, что за такими кадетами оставалось прозвище «плаксы» надолго, при переводе их в другие роты и классы. Случалось, что такие мученики не выдерживали, чахли и умирали или по болезни оставляли корпус. В число таких кадет-мучеников попал вместе со мной поступивший кадет Кудрявцев, через год оставивший по болезни корпус.

Еще более строгому и жестокому кадетскому самосуду подвергались доносчики, ябеды и наушники. Таких кадет, кроме наносимых им зачастую побоев, все чуждались, и никто не говорил с ними как в роте, так и в классах. И такое отчуждение продолжалось не недели и месяцы, а годы; провинившийся получал прощение только по принесении публичного раскаяния и признания в совершенной им вине.

Может быть, по благодушию и слабости моей комплекции и меня постигла бы та же участь, как Кудрявцева, если бы я на третий день моего кадетства

не привел с ловкостью в исполнение наставления <моего соседа по кроватям ефрейтора Полонского, сумевшего передать мне в такое короткое время первоначальные правила>. На моем теле уже было несколько синяков от щипков, правая рука болела от удара, голова трещала от кукуньки, и когда во время утренней перемены затрещина готовилась усилить мою головную боль, я так ловко отпарировал удар моего противника, что он упал, а я, воспользовавшись его падением, нанес ему несколько полновесных ударов кулаками и ногами.

«Надеюсь, что после этого ни ты, никто другой не осмелится меня более трогать», — проговорил я с гордостью победителя.

И действительно, после этого приставания ко мне шалунов сделались реже, и они вели себя осторожнее, после же громогласной пощечины, данной мной в роте одному из таких кадет, я избавился навсегда и от их приставаний.

Что же касается шалостей, в особенности совершаемых «старыми» кадетами, то по моей природе и воспитанию я не мог иметь к ним ни малейшего влечения и сочувствия. Побоище же между десятком таких кадет, случившееся спустя пять-шесть недель по поступлении моем в корпус, до того потрясло мой впечатлительный организм, что я заболел горячкой. Немало горя причинила эта моя болезнь не только моей нежной матери, но и доброму дядьке, просиживавшим целы дни у моей кровати. Они не оставляли бы меня и по ночам, если бы корпусные порядки делать этого не воспрещали. <...> Только на десятые сутки я встал на ноги и был переведен из отдельной комнаты <лазарета> в общие палаты. <...> Здесь, кстати, опишу с некоторой подробностью лазарет, тем более, что в первые два года моего пребывания в корпусе мне частенько приходилось побаливать. Но только болезнь

моя была всегда действительная, а не притворная, как это делали зачастую кадеты лентяи, прибегая к разным непозволительным и вредным средствам. Например, сделанные надрезы ножом или царапины гвоздем растравляли до нагноения; производили искусственную рвоту и бледность проглатыванием табачной или просто бумажной с чернилами жвачки; для ускорения биения пульса ударяли локтем о стену, стол и другой твердый предмет. <...>

Кроме обставленной диванами и стульями, а также обвешанной зеркалами и портретами приемной залы, двух небольших комнат для трудно больных, сыпного, глазного и скарлатинного отделений, корпусный лазарет составляли шесть комнат или палат. В них размещались больные не только по роду болезней, но и по возрастам. Лечение больных, уход за ними и содержание их в лазарете были настолько хорошие, что бессовестно было бы требовать лучшего. Кроме прямого надзора за лазаретом со стороны полицмейстера корпуса, неуклонный порядок поддерживался в нем и по причине почти ежедневного посещения больных директором. Немало способствовал этому заботливый, обходительный, добросовестный, знавший свое дело старший доктор <Мартын Дмитриевич> Сольский, пробывший в корпусе весьма долгое время и, если не ошибаюсь, умерший тайным советником и придворным лейб-медиком.

Чистота и порядок в лазарете были образцовые. Паркетный пол блестел как зеркало. На алебастровых стенах не было ни пылинки, а в углах — ни паутины. Вычищенные и блестящие лампы и кинкеты не издавали никакого запаха, потому что масло в них горело хорошее; то же самое можно было сказать и о ночных лампочках. На сальные свечи был остракизм, а где нужно — горели восковые свечи, стеариновых же в то время не знали. Шторы на окнах были из плотной

материи, так что когда они были опущены, то производили приятный для глаз полумрак. Температура надлежащая <...>, воздух чистый, как освежаемый посредством отдушин и частого прокуривания. Кровати хотя были такие же, как в ротах, но тюфяки мягче, и лежали они не на досках, а на холсте; постельное белье было тоньше ротного, притом вместо одной было две подушки. Белье, надеваемое больными кадетами, было также тоньше носимого здоровыми в ротах. Тиковые халаты летом и суконные зимой, а равно башмаки были тоже хорошие, как сшитые из добропорядочного материала. Пища, приготавливавшаяся из свежих и доброкачественных продуктов, была разнообразная. Кроме разнородных супов, куриных котлет, компота, чая с булками и сухарями выздоравливающим давали бифштекс и жареный филе. И все это приготавливалось чисто и вкусно, не то что здоровым в ротах.

Да, пища в ротах не в пример была хуже пищи лазаретной. <...> Однако за это следует винить не эконома <Андрея Петровича Боброва>, а его помощников и поваров. Бобров же настолько любил кадет, что если бы он имел свои капиталы, то охотно пожертвовал бы таковые на улучшение их пищи. Но известно, что если бы не три тысячи рублей, присланные царем, то не на что было бы его похоронить ^[15].

Ежедневная пища кадета состояла из следующего. Утром фунтовая булка, всегда хорошо выпеченная из белой пшеничной муки, но без всякого прибавления. Только с 1832 года начал даваться сбитень: кружка величиной в стакан в младших и в два стакана в гренадерской и первой ротах. И с каким аппетитом и быстротой выпивался такой взвар из воды, меда, корицы и гвоздики, несмотря на то, что иной раз был не сладок, по малости меда, и горек, по излишеству

пряностей, или водянист, по малости того и другого. На обед, смотря по времени года, давали щи кислые, ленивые и зеленые или супы перловый, манный, рисовый, гороховый и пюре картофельное с куском говядины; пироги с мясом, капустой, морковью, гречневой и пшенной крупой; разные соусы неизвестных наименований и приготовленные из неопределенных продуктов; жаркого, состоящего, смотря по дешевизне, из куса курицы, гуся или утки, а чаще куса простой говядины. По воскресным и праздничным дням прибавлялось к этому пирожное из заварного или слоеного теста, а также из пышек или хворосту. Немногие же затворники, не увольнявшиеся из корпуса по неимению родных и в великие праздники, сверх обыкновенных кушаньев получали: в Рождество Христово на жаркое тощих индеек и несвежих тетерок; а на Воскресенье Христово — по куску пасхи и кулича, а также по три яйца. Ужин состоял из сухих блюд, по преимуществу же из гречневой, смоленской и пшенной каш, облитых растопленным маслом, и «картофеля в мундирах»^[16], при этом на каждого кадета полагалась продолговатая, в виде сосульки, формочка масла. Но это масло редко когда употреблялось по своему назначению, а елось с «тюрей», составляемой по соглашению самими кадетами из вкусного ржаного хлеба и хорошего кваса, даваемого вдоволь в пищу и для питья. Однако не полагайте, чтобы на картофель не обращалось должного внимания, он поедался кадетами с солью также охотно, как и изготовляемая ими самими «тюря».

В Великий пост на Страстной и в неделю говения^[17] давалась постная пища, состоявшая почти из тех же кушаньев, как и скоромная, с той только разницей, что говядина заменялась рыбой, в особенности корюшкой, а коровье масло — постным, разумеется, не прованским,

горчичным, подсолнечным или другим дорогим, а льняным и даже конопляным. Оказывается, что постная пища была еще хуже скоромной. Немногие могли есть все даваемые постные кушанья. Были и такие, к числу которых и я принадлежал, что ограничивались сбитнем, булкой, хлебом, картофелем да гречневой кашей с квасом и солью. Следовательно, я постился подобно аскету, но только поневоле. Хорошо еще, если на дежурстве был сговорчивый служитель, который вопреки приказания начальства, но ради своих корыстных расчетов соглашался принести булок, пирожков и других сластей; потому что подобные покупки строго воспрещались, да и денег кадетам иметь не дозволялось. Такое запрещение имело ту хорошую сторону, что не возбуждало зависти и злобы в тех кадетях, которые не могли этого делать по неимению или бедности родителей или родных, и что кадеты не могли объедаться и болеть, а и того хуже — напиваться, что иной раз, несмотря на все строгости, случалось между перворотцами. По такой же причине не дозволялось кадетам иметь в корпусе чай, сахар и другие посторонние вещи, а вне корпуса — носить не казенное, а свое белье и платье <...>.

Для полноты очерка кадетской жизни остается еще описать столовые залы, в которых кадеты в половине седьмого пили сбитень, в половине первого садились за обед, а в восемь часов вечера ужинали. Таких зал было две, и находились они в нижнем этаже, по обе стороны кухни; одна вмещала гренадерскую и первую роты, другая — всех кадет младших рот. За параллельно расставленными в две колонны столами и совершали кадеты, сидя на скамейках, свою однообразную и не всегда вкусную трапезу.

Скатерти, которыми покрывались столы, нельзя сказать, чтобы были тонки, а подчас были и довольно грязны, в особенности они были залиты и нечисты по

средам и по воскресеньям за сбитнем, когда их переменяли чистыми. То же самое можно было сказать и о салфетках, полагавшихся в гренадерской и первой ротах всем кадетам, а в младших — только унтер-офицерам и ефрейторам. Подвергавшиеся частому битью фаянсовые тарелки, графины с водой или квасом, ставившиеся с несколькими стаканами посередине стола, были самые простые. Ложки, суповые чаши и блюда были металлические: первые были серебряные, последние, если не ошибаюсь, оловянные. Ножи и вилки с деревянными или костяными черенками подавались большей частью дурно вычищенными, притом лезвия первых были до того тупы, что ими с трудом можно было резать, а зубцы вилок были, большей частью, поломаны или искривлены.

За каждый стол садилось не более двадцати кадет. Сверх того по концам каждого стола, один против другого, сидели унтер-офицеры, разливавшие суп или щи и раздававшие прочие кушанья из ставившихся перед ними суповых чаш и блюд. В младших же ротах унтер-офицеры обязаны были следить за порядком и чинным сидением кадет за столом и, в случае неисполнения их приказаний, тут же наказывали, оставляя без пирога и даже целого обеда. Дежурный же офицер и фельдфебель имели право высылать слушников из-за стола и ставить их напоказ возле стены или, выражаясь по-кадетски, «ставить к столбу». Такому же наказанию подвергались лентяи в классах и шалуны в ротах. <...>

Дежурному офицеру нужно было иметь много такта, терпения и хладнокровия, чтобы уметь ладить с кадетами вообще, а с перворотцами в особенности, и чтобы если не пользоваться их любовью, то не подвергаться их насмешкам и даже балаганным выходкам. Немного было офицеров, <...> которые в продолжение долгого своего служения в первой роте ни

разу не были ошikanы или осмеяны. Но зато такие вспыльчивые, раздражительные, суетливые офицеры, как, например, Корф, не уживались даже с кадетами младших рот и подвергались осмеянию, а о перворотцах и говорить нечего. Помнится мне, что однажды этого Корфа, получившего кличку «петуха», с десяток шалунов 2-й роты, в которой он был дежурным офицером, довели до бешенства, кончившегося серьезной болезнью, тем, что после пробития вечерней зари пели по-петушину. Если бы вместо того, чтобы метаться с одного конца длинного дортуара на другой с поднятыми кулаками и с пеной у рта, он посмеялся бы их шалостями и попросил бы не дурачиться, а лучше спать или, не обращая на это внимания, удалился бы спокойно в дежурную комнату, то, без сомнения, все обошлось бы без дурных последствий и для него, и для кадет. Первый долго болел, а из последних зачинщики были не только посажены в карцер, но и наказаны розгами. <...>

Главными предметами, на которые обращалось особое внимание директора и которые читались от низших до первого верхнего класса, были: математика, история и география, а также языки русский, французский и немецкий с их синтаксисом и краткой историей литературы. Независимо от этого в четырех верхних классах преподавались артиллерия, полевая и долговременная фортификация, физика с химией, и сверх того, исключительно в первом верхнем классе, читалась история военного искусства. <...>

Чтобы достигнуть воинственной выправки и осанки, уметь хорошо делать ружейные приемы, уметь стройно маршировать в ногу, в особенности на руку дистанции, как обыкновенно проходили мимо царя на разводах, нужно было немало времени. А потому, начиная с неранжированной роты, в продолжение всей зимы, с 11 часов до половины первого, а иной раз и по вечерам,

производились одиночные и шереночные ученья. Перед парадами же и выступлением в лагерь сначала делались ротные ученья, а потом сводился батальон для церемониального марша и разных построений. Батальонные учения производились во время холода и дождя в корпусном манеже, а в теплую и хорошую погоду — на корпусном плацу, входившем в состав огромного сада, в котором кадеты проводили в разных играх все свободное время от классных и строевых занятий. На этот плац собирались и другие военно-учебные заведения для общего церемониального марша и учений, что делалось, по преимуществу, перед выступлением в лагерь.

Фронтное образование не требовало такого неусыпного наблюдения и побуждения, как научное. Каждый кадет второй и третьей рот, если он не был кривоножка или слабосильный, сам старался поскорее быть «фронтовиком», то есть попасть в строевой состав роты, потому что с того времени он приобретал право ходить на парады и в лагерь. <...> А это возбуждало немалое соревнование между кадетами этих рот, пожалуй, через это возбуждалась и зависть между ними. <...>

Еще сильнее волновались кадетские страсти вне стен корпуса, когда происходило состязание между военно-учебными заведениями в присутствии царя. Это состязание происходило в Петергофе, где, начиная с 1828 года, все корпуса^[18] с половины июня до начала августа жили в палатках; каковое блаженное время для кадет я и намерен описать с некоторою подробностью.

С 1 июня изменялся, в некоторых отношениях, образ жизни кадет. Уже не раздавался ни по утрам, ни в два часа пополудни барабанный бой, сзывавший кадет в классы. С 1 июня классы закрывались, и место научного образования заступало фронтное. С утра до вечера

кадеты были заняты ротным и батальонным ученьем, а также пригонкой одежды и амуниции. На то и другое обращалось особенное внимание со стороны ротных командиров по той главной причине, что с выпуском в офицеры изменялся состав рот^[19]. Кроме ранжира и других мелочей, нужно было согласовать ружейные приемы и уравнивать шаг. Кроме обновления и пригонки новой мундирной одежды, нужно было пригнать патронные сумы с перевязями, ранцы и лагерные кивера. Особенная деятельность в это время проявлялась между ротными командирами гренадерской и первой рот, которые изменялись в своем строевом составе почти наполовину.

Но с 1831 года для ротного командира гренадерской роты, которым был в то время подполковник Сивербрик, явилась новая, ни с чем не сравнимая забота — это блюсти за августейшим гренадером. В этом году государь император осчастливил корпус двумя высокими милостями: назначением себя, по кончине своего брата Константина Павловича, «шефом корпуса» и приказанием старшему сыну своему находиться в рядах гренадеров в продолжение лагерного времени и нести одинаковую службу с кадетами. Поэтому наследник всероссийского престола являлся с пунктуальной точностью в сопровождении своего воспитателя генерал-адъютанта <Карла Карловича> Мердера на все время ученья, совершал с кадетами походы, маневрировал с ними, стоял на аванпостах, проводил ночи на бивуаках. Несмотря на то, что прошло полустолетие, но я ясно представляю себе тот бивуак, когда, после утомительного перехода усталый цесаревич спал на соломе среди кадет, а престарелый его дядька дремал, сидя на складном стуле, под деревом, в нескольких шагах от своего августейшего питомца.

Да и сколько других благоговейных воспоминаний воскресает о лагерной жизни! <...> Кто не припомнит ласкового обращения царицы с кадетами, <...> которых она поила чаем, бросала конфеты и апельсины? Кто не помнит штурм каскада, что между фонтаном Самсона и Большим дворцом, когда царица раздавала часы, кольца и другие призы первым взобравшимся на верх каскада облитым водою кадетам?

И много других разнородных воспоминаний роится в моей голове...

Ольшевский М. Я.

Первый кадетский корпус в 1826–1833 гг. // Русская старина. 1886. Т. 49. № 1. С. 63–95.

А. Н. Корсаков
Из «Воспоминаний московского
кадета»
Первый Московский кадетский
корпус. 1830-1837 годы

Было свежее и ясное июньское утро. Беспечно и резво бегал я по маленькому нашему садику в Лефортове, когда меня позвали к матушке. Я нашел ее в спальней у окна с «Московскими ведомостями» в руках. «Ну вот, Алеша, и тебя определили в корпус», — сказала она, опуская газету к себе на колени. Это было в 1830 году, когда открывалось малолетнее отделение. Мне шел восьмой год.

4 июля около 10 часов утра в гостиной был поставлен столик, накрытый чистой скатертью с образом и миской, наполненной водой, тут же лежало несколько восковых свечей. <...> Отслужили молебен, бабушка благословила меня образом; перекрестила матушка, крепко-крепко поцеловала она меня, еще раз перекрестила, и мы с отцом вышли на крыльцо, где уже дожидались нас дрожки. Батюшка повез меня в главный корпус, находившийся в Головинском дворце, где меня водили в лазарет для осмотра телосложения.

Из главного' корпуса мы отправились на Немецкую улицу в малолетнее отделение. Как теперь помню ту минуту, когда я вошел с отцом в просторную светлую залу с четырьмя колоннами по углам, по которой бегали и резвились несколько десятков мальчуганов, будущих моих товарищей, кто уже в форменных курточках, а кто еще в домашних рубашечках. При входе нашем вся эта пестрая толпа бросилась было к нам, но звонок *классной дамы* — так назывались надзирательницы —

разогнал их, и я остался с отцом вдвоем. Посидели, поговорили, и после троекратного осенения меня крестом и сердечного поцелуя батюшка простился со мной.

На другой день в календаре 1830 года на листке, вклеенном для отметок, против июля месяца явилась заметка красными чернилами: «4 Алеша поступил в малолетнее отделение». А я, простившись с отцом, бойко вмешался в толпу товарищей и, запряженный кем-то из них в «тройку», получил отчетливое наставление как, в качестве пристяжной, должен был гнуть голову, фыркать и бить копытом... Ни толчков, ни щипков — ничего не было, как говорят, бывает это с новичками в других заведениях; только некоторые подходили ко мне и спрашивали, не играл ли я дома в бабки? «Нет, не играл», — отвечал я, и спрашивавшие отходили от меня, не сказав ни слова. После узнал я, что вопрос этот предлагался каждому новичку, и если он говорил, что играл, то над ним смеялись. Надо сказать, что первыми кадетами малолетнего отделения были несколько человек, переведенных из главного корпуса как не достигшие 10-летнего возраста: они-то все и спрашивали у новичков о бабках. Теперь, вспоминая об этом, я дивлюсь, откуда взялась эта щепетильность между детьми хотя и дворянскими, но далеко не аристократическими?

Весь день прорезвился я, ни разу не вспомнив, что нахожусь между чужими; но вот солнце стало садиться... Веселость мою как рукой сняло; я задумался, сердце у меня сжалось, и я заплакал — по своему дому, по своему садике. Как грустно, как тяжело мне было тогда! «К<орсако>в, К<орсако>в! Тебя спрашивают», — раздавалось вокруг меня несколько голосов. Я бросился к матушке и замер в ее объятиях, в ее поцелуях. Лишь только мы сели, как передо мной раскрылась белая камышовая корзиночка с

крендельками и булками и свежей, душистой малиной, только что поспевшей в этом году и в первый раз собранной. Я не был голоден, но ел и крендели, и булки, и малину, да и как было не есть — ведь все было из дому!.. Заботливо расспрашивала меня матушка, каково мне на новоселье, и я, забыв грусть свою, с живостью бойкого ребенка рассказывал свои детские впечатления.

Так прошел мой первый день в чужой семье. Матушка навещала меня часто, а по праздникам я ходил домой и виделся с батюшкой. Скоро я так освоился с новым для меня миром, что уже не скучал по дому. Нашлись у меня и «друзья», с которыми я больше, чем с другими, проводил время в разговорах и больше играл <...>.

Малолетнее отделение было учреждено для воспитания и первоначального обучения детей от 7 до 10-летнего возраста, по достижении которого их переводили в главный корпус, где и зачисляли в самую младшую роту — неранжированную, или, как тогда говорили, резервную. Заведение это состояло под начальством директора главного корпуса, ближайшее же заведование им поручалось одному из двух штаб-офицеров, положенных по штату при корпусе.

Кроме этого штаб-офицера, который по отношению к малолетнему отделению был также поставлен как батальонный командир в корпусе, надзор за нравственным и физическим воспитанием детей поручался старшей надзирательнице и трем ее помощницам так точно, как в корпусе тот же надзор вверялся ротным командирам и их помощникам — субалтерн-офицерам. В лазарете была особая надзирательница. Прислуга была женская, за исключением некоторых должностей, как, например, писаря, двух фельдшеров, швейцара, нескольких поваров и дворников — эти все назначались из

служительской роты корпуса. Затем при малолетнем отделении был священник с двумя причетниками и один из помощников эконома главного корпуса. <...> Для визитации больных ежедневно приезжал один из врачей главного корпуса.

Во время моего поступления директором корпуса был генерал-майор Петр Сергеевич Ушаков 3-й, который, впрочем, никогда к нам и не заглядывал, а заведующим малолетним отделением — подполковник Григорий Артемьевич Дорошинский, служивший прежде в артиллерии, потом в Дворянском полку, откуда, по сформировании в Московском корпусе пяти рот, был переведен к нам в корпус в должность младшего штаб-офицера. Это был добряк в полном смысле слова. Известно, что воспитанники учебных заведений имеют привычку давать некоторым начальникам, так же как и товарищам своим, прозвища или клички. Помнится мне, что и Дорошинского в корпусе окрестили кличкой — «Горячий», но почему, решительно не понимаю. Кажется, никому так не приходилась «не по шерсти кличка», как волоокому Григорью Артемьевичу. В самом деле, никогда не приходилось мне видеть его горячившимся, кричавшим, выходившим из себя, и если он действительно имел горячий темперамент (не назовут же даром) и не мог иногда сдерживать себя, сидя в классе у кадет старшего возраста <...>, то тем более было ему чести, что он умел сдерживать себя с детьми. Правда, он посекал нас, но никогда в таких случаях не обнаруживал ни горячности, ни вспышки, и наказания его никогда не выходили за пределы строгости, обуславливаемой детским возрастом. Дети не бегали от него, как это случалось с нами потом в корпусе при виде начальников; напротив, они доверчиво окружали его и весело пускались в разговоры. Дорошинский хорошо рисовал и нередко нашивал нам картинки <...>. Он хорошо знал

башмачное ремесло и ни от кого не скрывал, что на жену и маленького сына шьет башмаки сам.

Старшей надзирательницей была Хомякова — женщина, как мне казалось, кроткого, мягкого характера, но болезненная. Так как она была вдова генерал-майора, то ее называли «генеральшей», к чему все так привыкли, что когда вместо нее (она недолго служила) была определена баронесса Елизавета Ивановна Корф, то и ее величали «генеральшей», да еще и *директрисой* — обстоятельство, ставшее потом причиной больших для нее неприятностей.

Дело в том, что баронесса Корф, женщина умная, с самостоятельным характером и барскими замашками, вообразила себе, что она — главное лицо в малолетнем отделении, как директор в главном корпусе. Благодаря этому заблуждению она так и держала себя или по крайней мере старалась поставить себя в положение главной начальницы. Дорошинский или не замечал этого, или не хотел обращать на то никакого внимания, чрез что действительно как будто стушевывался перед ней. Была ли тому причиной вежливость, которую он находил нужным оказывать светской баронессе и ее хорошенькой племяннице <...>, мирный ли нрав его или отсутствие служебного самолюбия — не знаю. Еще менее могли замечать претензии баронессы Корф такие директора, как Ушаков <...>, но когда был назначен <Александр Осипович> Статковский, то он тотчас же дал заметить ей, что директор — он, а она, баронесса, не более как старшая надзирательница. Баронская гордость не вынесла афронта и величественно удалилась из заведения. Баронессу Корф заменила сперва княгиня Шаховская, а после нее одна из надзирательниц — Матрена Савишна Чурашева, женщина с не меньшим умом, как и баронесса Корф, но без ее заносчивости, ловкая, предусмотрительная, с замечательным тактом, словом сказать, тонкий политик

в зеленом платье. <...> Матрена Савишна пережила семь директоров и только при восьмом оставила службу, да и то лишь оттого, что по преклонным летам своим лишилась зрения и самое малолетнее отделение было упразднено. <...>

Обращаюсь к нашему учению в малолетнем отделении. Классов было три, из которых первый был старший. Я поступил в третий, так как познания, приобретенные мной дома, были весьма ограничены. Несмотря на то, что мне шел восьмой год, я ничего больше не знал, как только читать по-русски и списывать с прописи, очень плохо — нумерацию, хотя и делал сложение и вычитание целых чисел, знал кое-что из Священной истории Ветхого Завета <...>. По-французски и по-немецки дома я не учился.

Помнится мне сцена одного осеннего вечера. Третий класс рассадили во втором, а второй увели в третий. В комнате стоял стол, покрытый красным сукном, на столе горели две восковые свечи, а в креслах сидел седенький старичок <...>. Старичок страдал удушливым катаром и потому очень часто закашливался продолжительным судорожным кашлем, наклоняясь над поставленной у его кресла песочницей; потом он несколько секунд тяжело дышал и утирался платком, который так и не клал в карман, а держал возле себя на столе. Это был инспектор классов главного корпуса коллежский советник Степанов, в молодости, как мне сказывали, служивший под знаменами Суворова, о чем он и любил рассказывать старшим кадетам. Он приехал к нам делать экзамен.

Степанов вызвал меня и, открывая книгу, спросил: умею ли я читать по-французски? «Нет, я только азбуку знаю», — почему-то отвечал я, хотя не знали азбуки. Он открыл ту страницу, на которой была азбука, и стал спрашивать буквы вразбивку. После весьма непродолжительного опыта оказалось, что я ничего не

знаю. «Ну хорошо, душечка, сядь на место», — сказал мне Степанов, и затем я уже ничего не помню, как продолжался и чем кончился наш экзамен.

На другой день надзирательница Дмитриева увела меня в лазарет и стала учить меня по-французски; всякий день я ходил к ней и под ее руководством научился азбуке, складам и, наконец, стал читать. <...>

В третьем и во втором классах учили историю Ветхого Завета и Нового Завета <...>, а в последнем — краткий Катехизис <...>; по русскому языку — в младших классах чтение и письмо, а в последнем — грамматика <...>, причем вне классов должны были готовить письменный этимологический разбор нескольких строк, что я весьма охотно делал, так как занятие это меня интересовало. Не то было с арифметикой, которую преподавал И. П. В-в. Его вспыльчивость, нетерпеливость и щелчки, которыми он достаивал меня у большой черной доски, вселяли в меня страх и отвращение к арифметике, отчего, по переводе меня в корпус, я всегда шел по математике плохо. <...> В последнем классе учили также всеобщую историю <...> и географию <...>; но от той и другой оставались у меня смутные понятия, да едва ли и уместно было преподавать эти предметы в таком раннем возрасте. Особенно часты были классы чистописания, что, как мне кажется, было весьма полезно; ибо с прописей мы привыкали писать не только чисто и красиво, но и правильно, чем значительно облегчалась задача преподавателя русского языка. <...>

В августе до слуха нашего часто стало доходить слово, которого до того времени никогда не слыхивали, — *холера*! Мы не могли понять и того страха, который оно наводило на всех, а потому немало были изумлены, когда нас перестали отпускать к родителям, а их — к нам. Как теперь на моих глазах

отец одного из наших товарищей, штаб-офицер гарнизонного батальона <...>, стоял на дворе и жадно смотрел на маленького своего сына, которого ему показывали через окно. Нежные улыбки и поцелуи передавались со двора в стены здания, но увы! — пропасть между отцом и ребенком лежала непроходимая...

Скучно и однообразно потянулись наши дни в четырех стенах, пропитанных неприятным запахом хлора, который расставляли во всех комнатах. В предупреждение расстройства пищеварительных органов было предписано для питья употреблять одну сухарную воду, а в пищу — суп из круп, дающих слизистый отвар, и кашу из смоленской крупы. После каждой воскресной литургии пелись молебны Пресвятой Троице. Не помню, чтобы кто-нибудь, кроме добряка Дорошинского, имел желание развлекать нас в нашем уединении; но он забавлял нас, показывая сделанный им самим картонный театр. Игрушка эта так понравилась нам, что некоторые сами стали пытаться устраивать подобные же сценки: началось рисование, вырезывание, клеение; в конце концов вышло то, что мы были заняты и меньше скучали.

Смутно припоминаю, как у нас заговорили о кончине великого князя Константина Павловича <в 1831 году> и, кажется, по этому случаю служили панихиду. Кто такой был Константин Павлович, я до того времени не имел никакого понятия, а тут узнал, что он был главным начальником всех кадетских корпусов. <...>

Кажется, в том же году, летом или в конце его, нас стали готовить к приезду *великого князя*. Это был Михаил Павлович, принявший начальствование над кадетскими корпусами. Так как у всех на языке было не столько его имя, как титул великого князя, то я в простоте своей думал, что к нам приедет *большой, высокий* князь. На самом-то деле оно так и оказалось,

но заблуждение мое было поводом к тому, что надзирательницы стали разъяснять нам, что великий князь есть титул братьев и сыновей государя и что в разговоре с ними называют их *Ваше Императорское Высочество* <...>. Приготовляясь к посещению великого князя, учили нас, чтобы мы непременно целовали у него руку, если он кого-нибудь приласкает из нас.

За несколько часов до его приезда <...> классные дамы принарядились в светло-зеленые платья, осматривали нас, обдергивали, причесывали, а перед приездом великого князя поставили в шеренгу по обеим сторонам залы. <...>

Но вот в дверях залы показался высокий, плотно сложенный, сутуловатый генерал и <...> звучным голосом <...> сказал, смотря на нас сверху вниз: «Здравствуйте, карапузы!» — «Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество!» — прозвенело около сотни тоненьких, металлических голосков. Классные дамы сделали низкий, почтительный реверанс. «Вот он какой, великий-то князь», — думал я, глядя во все глаза...

Недолго стояли мы в шеренге. Окинув нас взглядом, Михаил Павлович позвал к себе, и мы, как саранча, облепили его. Наставления классных дам относительно целования руки были у всех в памяти и исполнялись всякий раз, как только рука великого князя прикасалась к кому-либо из нас; но такое изъяснение чувств, кажется, не очень нравилось Михаилу Павловичу, как я могу думать *теперь* <...>.

Не припомню, бывал ли у нас покойный государь <Николай Павлович>, но императрица Александра Федоровна, главный, так сказать, шеф Александровского малолетнего <Царскосельского кадетского> корпуса и нашего отделения, была при мне, кажется, раза два или три, и один раз провела несколько часов. Она сидела у нас в зале, долго разговаривала с баронессой Корф и другими

надзирательницами, а мы были распущены, то есть не стояли в шеренге, как это всегда делалось при приездах высших начальствующих лиц; потом сидела за нашим обеденным столом, причем во все время обеда занимала за столом место надзирательницы первого отделения. Вообще, посещение императрицы имело в этот раз такой вид, как будто она благоволила быть у нас дежурной классной дамой. В тот же день вечером нам прислала государыня несколько фунтов отличнейших конфет. При отъезде своем она оставила повеление, чтобы вместо сбитня, которым до сих пор нас поили по утрам, давали бы габерсуп. Прекрасные, правильные черты лица, произвольное кивание головой и не совсем русское словоударение государыни остались у меня в памяти. <...>

Прислуга у нас была женская; но кроме няnek были еще дядьки — отставные унтер-офицеры <...>, все без исключения Георгиевские кавалеры. Днем они находились при нас и были как бы помощниками дежурной классной дамы. <...> Помнится мне, когда, бывало, строились идти к столу или в сад, дежурная классная дама скажет: *à droit* или *à gauche*^[20], мы повернемся и пойдем за ней, хотя и рядами, попарно, но немилосердно обтапывая друг другу ноги; а тут прислали нам дядек; они становились перед нами и командовали сперва: *смирно!* — а потом: *напра-во! скорым шагом марш!* Дядьки учили нас «стойке», поворотам и маршировке, так что мы скоро уже привыкли ходить в ногу. <...>

Под влиянием ли бесед с дядьками или по чему другому, только игры наши в рекреационные часы, особенно летом, стали принимать иной характер, чем прежде: у нас появились самодельные знамена, палки заменяли нам ружья и пики, на головах показались бумажные шляпы с такими же султанами; мы играли в

«казаки», в «оренбургские уланы» и т. п., а вскоре завелась и еще одна забава.

Однажды, когда мы после утренних классов ходили и бегали по зале, в нее вошел корпусный адъютант Николай Павлович Львов, а за ним маленький кантонист с барабаном. Мы все так и бросились к нему. Тогда Львов объявил дежурной даме, что барабанщик этот останется при отделении, а нам, что теперь мы будем строиться по барабанному бою, и тут же велел Зиновьеву пробить *повестку, сбор к столу и общий сбор*. Нечего говорить, что нововведение это нам очень понравилось, и скоро многие из нас обзавелись маленькими барабанами; а у кого их не было, то просто палками, которыми и выбивали старательно разные бои по деревянным скамейкам. <...>

В августе 1833 года я в числе других 25 кадет был переведен из малолетнего отделения в главный корпус и поступил в неранжированную роту. С тяжелым чувством приступаю к рассказу об этом времени. По правде сказать, мало отрадного вынесла память моя из детства, проведенного мной первые два года в главном корпусе. Я ли виноват в том или суровая обстановка, среди которой очутился я в новой школе, не знаю: пусть судят об этом другие, кому доведется читать рассказ мой.

Прежде всего скажу о главных лицах корпусного управления. Директором в то время был генерал-майор Карл Павлович Ренненкампф, высокий, флегматичный немец с кроткой, незлобивой душой, с мягким и добрейшим сердцем, человек, которого все любили — и кадеты, и офицеры. Он редко ходил по ротам, где за него бодрствовал батальонный командир полковник <Викентий Францевич> Святловский, но чаще бывал в классах.

Если ему случалось когда-нибудь делать замечания, то делал это спокойным, ровным голосом, без

малейшего признака горячности. <...>

Теперь о ротных командирах. <...> Первой мушкетерской ротой командовал капитан Виктор Христианович Минут. Из юнкеров гвардейской артиллерии поступил он в Артиллерийское училище, откуда по окончании курса произведен прапорщиком в полевую артиллерию. В Московский корпус поступил он в 1826 году, имел классы математики и в 1834 году назначен помощником инспектора классов, сдав роту штабс-капитану Николаю Михайловичу Флейшеру.

Высокий, несколько сутуловатый, с бледным лицом и слегка ввалившимися щеками, серьезный, сосредоточенный, Минут внушал кадетам больше страха, нежели расположения к себе; ибо и само образование, которое отличало его от многих сослуживцев, не мешало ему, как мне рассказывали, пускать в ход свою табакерку по головам кадет, если кому-нибудь приходилось своей непонятливостью при объяснении математики вызывать его раздражительность.

Преемник его Флейшер получил образование в Юнкерской школе, находившейся, кажется, в Могилеве при главной квартире 1-й армии. Нечего и говорить, что это образование не могло бросаться в глаза; но недостаток его искупался, по крайней мере, здравым смыслом, добрым сердцем и душой, чуждой лукавства.

Добродушие Флейшера не мешало ему быть строгим, особенно с теми, которые в общем мнении слыли «старыми» кадетами — обыкновенно лентяями: тут уж у него каждое лыко шло в строку. Сколько могу припомнить, Флейшер перед всеми своими сослуживцами отличался особенной способностью *изловить, накрыть, захватить* на месте преступления виновного в каком-либо проступке, как, например, в нюхании или курении табаку, чтении запрещенной книги и т. п. Все эти нюхальщики и курильщики были у

него на счету и служили постоянным предметом подтруниваний его над ними, что он обыкновенно делывал в присутствии их товарищей; впрочем, эти насмешки не только бывали безобидны, но, по особой манере Флейшера выражаться, казались более забавными. <...>

Гораздо отчетливее выдавалась личность командира 3-й роты Карла Ивановича Гросвальдта, аккуратного немца, высокого, стройного, красивого и отлично выправленного карабинера, поступившего в корпус из егерского фельдмаршала князя Остен-Сакена полка, в каком именно году — не знаю. Ничем нельзя было так угодить Карлу Ивановичу, как щегольством и опрятностью в одежде, в особенности если к этому качеству кадет присоединял еще умение ловко являться ординарцем или вестовым или ловко танцевать — вообще блеснуть наружно. Таких он особенно жаловал, называя их «красавчиками-молодцами», чем всегда напоминал мне Суворова, называвшего своих соратников чудо-богатырями. Если «красавчику-молодцу» случалось провиниться, то Карл Иванович журил его с отцовской снисходительностью; но если же попадался какой-нибудь вахлак с непричесанными волосами, с разорванными штанами или курткой или какой-нибудь отъявленный лентяй, который то и дело попадал в журнал ленивых, тогда Карл Иванович выходил из себя и, покрасневшись как индюк, с каким-то ужасом восклицал: «Ах ты, арнаут!» Но почему именно *арнаут* — это оставалось нам неизвестным. Боже мой, как теперь все это смешно; но ведь тогда-то далеко было не до смеха, потому что вслед за «арнаутом» могли быть и розги. <...>

С отрадным чувством благодарности и уважения перехожу к воспоминанию о последнем ротном командире той именно роты, куда я поступил. Это был капитан Александр Николаевич Черкез. Хотя в корпус

он поступил в 1829 году из армии, но тотчас можно было заметить, что он воспитание получил в порядочном семействе, а не в солдатской казарме. В самом деле, мало было офицеров, которые имели бы охоту или умение обращаться вообще как с взрослыми, так и с маленькими кадетами, и мне кажется, что для неранжированной роты нельзя было выбрать лучшего ротного командира.

Однако ж, если б кто-нибудь подумал, что начальство, назначая Черкеза командиром роты, состоявшей из 10-летних мальчиков, руководилось нравственными его свойствами, то он очень бы ошибся. Подобные соображения едва ли входили в голову батальонного командира. Доказательством тому может служить то, что в той же роте в числе отделенных офицеров был поручик Соколовский, которому не было места не только при маленьких детях, но и вообще в корпусе. <...> Гордый, надменный, с холодными чувствами, он был чрезвычайно высокого о себе мнения, отчего и не удостоивал внимания почти никого из своих товарищей-сослуживцев. <...> Это было сухое, черствое сердце, не смягчавшееся даже в обхождении с 10-летними мальчиками. Не то чтоб он был строг — это бы еще ничего, но он был просто зол, жесток. Я до сих пор не могу забыть С-ва, кадета его отделения; этот бедняга был буквально без висков, потому что волосы все были вырваны и развеяны Соколовским. Как такой человек мог быть воспитателем вообще, а тем более в младшей роте? <...>

Таковы были господа, к которым, по определенному порядку, должно было после классных дам перейти попечение о нашем воспитании. Тяжело было... Но ведь это же прошло...

Расскажу, как проходил день наш. Вставали мы в 6 часов утра и тотчас же должны были «чиститься» и «чиниться», то есть должны были вычистить себе

сапоги и пуговицы и починить платье, для чего в особой комнате, называемой умывальной, служителями приготавлились вакса в большой деревянной чашке, сапожные щетки, тертый кирпич и проч. Тут же сидел портной, который помогал «чиниться»; но так как один человек, несмотря на то, что он работал всю вторую половину ночи, все-таки не мог перечинить одежду, которая на мальчиках, как говорится, огнем горела, то починкой большей частью должны были заниматься сами; можно вообразить себе, что это была за починка. Вся эта операция, вместе с умываньем, продолжалась около часа, во время которого комната принимала вид муравейника: мальчики сновали туда и сюда, торопясь привести себя в порядок, говоря один другому: «Дай после» (то есть щетку); «Постарайся иголки» и т. п.

Затем строились по отделениям для осмотра. Унтер-офицеры осматривали платье и сапоги, повертывая кадет во все стороны и заставляя поднимать то руки, то ноги, чтобы убедиться, не разорвано ли где под мышкой, крепки ли подошвы, вычищены ли закаблучья.

Унтер-офицеры назначались из старших рот и высших классов, а потому они держали себя начальнически: им говорили *вы* и называли по имени и отчеству. Пользуясь таким почетом, некоторые из них, даже можно сказать большая часть их, употребляли во зло свое положение. Не думаю, чтобы начальство предоставило им власть оставлять кадет без пищи, драть за уши, давать толчки и т. п., — а все это было. Само собой разумеется, что в присутствии А. Н. Черкеза никто из них не смел этого делать; что же касается дежурных офицеров, то они смотрели на это сквозь пальцы.

Утренний осмотр был для нас первым испытанием: малейшая неисправность вызывала у унтер-офицера слова: *без сбитня; без сбитня и без булки; без пирога; на один суп и даже без обеда, на хлеб и воду*. Трудно

поверить этому, а еще раз повторяю: все это было... После унтер-офицеров осматривал кадет дежурный по роте офицер; при этом случае представлялось менее уже шансов подвергнуться упомянутым наказаниям, как потому, что предварительный осмотр унтер-офицерами устранял поводы к ним, так и потому, что офицеры все-таки были рассудительнее своих юных помощников.

После утренней молитвы и завтра, состоявшего из булки и кружки сбитня, мы шли в классы, где и оставались от 9 до 12 часов.

В 12 часов выводили нас на внутренний дворик <...>, и начиналось фронтовое ученье, которое в неранжированной роте ограничивалось рекрутской школой, то есть стойкой, поворотами и учебными шагами. Ничего не было скучнее и несноснее, как эти ученья, особенно если кому-нибудь приходилось выходить на них с тощим желудком, о чем сужу потому, что мне иногда случалось бывать в таком положении. Помню, как однажды, — это было в свежий и ясный сентябрьский полдень — я стоял в шеренге и машинально повертывался по команде унтер-офицера У-мова то направо, то налево; оставленный в тот день за что-то без завтрака, я был голоден и думал только об одном: как бы дождаться обеда. Запах печеного картофеля, разносившийся по двору из открытых окон подвального этажа, где жили служители, усиливал мои мученья <...>.

После ученья мы обедали, потом до 3 часов были свободны, от 3 до 6 — вечерние классы, затем до 8 часов опять рекреация, потом ужин, перекличка по ротному списку, чтение приказа по корпусу, вечерняя молитва, и спать. <...>

Воскресные и праздничные дни проходили несколько иначе. Поутру, после завтрака, рота приходила в движение и снова начиналась неизбежная чистка: готовились к церковному параду,

назначавшемуся на 9 часов. После церемониального марша, повзводно которым проходили мимо батальонного командира Святловского, мы отправлялись в церковь к обедне. <...> После обедни, если не было назначено развода, начальство наше расходилось, и мы в течение остального дня имели столько свободного времени, что, несмотря на всю нашу резвость, не знали, куда девать его. Набегавшись и наигравшись, некоторые группировались по уголкам и заводили речь о «страшном» или пересказывали друг другу предания о том времени, когда еще были только две роты, и чего-чего тут не рассказывалось! <...>

В 1835 году я отбыл первый лагерь, который устраивался у нас в полутора верстах от села Коломенского, при деревне Ногатиной. В лагерь выступали в половине июня. В день выступления кадеты с утра одевались в походную форму — в шинели и белые брюки, что нас, новичков, то есть в первый раз выступавших в лагерь, очень занимало. С этими шинелями шла возня до самого обеда; хотя они еще за неделю были на нас «пригнаны», но многие оставались недовольны пригонкой каптенармуса и теперь старались исправить то, что кому не нравилось. Заботились больше всего о том, чтобы шинель не казалась мешком, а сидела бы ловко, чтоб была видна талия, а назади все складки были бы собраны аккуратно. Все это достигалось посредством различных приспособлений — пересадки крючков, пуговиц, перешивки тесемок и проч.

Здесь я должен заметить, что солдатское щегольство это вызывалось отнюдь не требованием начальства, которое (надо отдать ему справедливость), наблюдая за чистотой и опрятностью, было далеко от таких тонкостей, за исключением разве одного Гросвальдта. У нас были судьи другие — некоторые из своих же товарищей, преимущественно те, которые

были мастерами по фронту, «фронтовиками», и потому пользовавшиеся по своей специальности общим у нас авторитетом. Эти если, бывало, увидят на ком-нибудь завалившийся набок или на затылок кивер, или опустившуюся амуницию, или неподтянутый приклад, тотчас же скажут: «Эх ты, шмара!» И хоть никто не понимал, что такое *шмара*, однако ж не совсем равнодушно относились к такому прозвищу и всячески старались избегать его не только из ребяческого самолюбия, но и потому, что иметь во мнении фронтовика репутацию «шмары» было невыгодно. Им наравне с унтер-офицерами поручали на одиночном ученье обучать новичков, и если кто из последних казался фронтовику «шмарой», то такому уже нечего было ожидать снисхождения.

Вот пример. На первых порах, по переводе меня из неранжированной во 2-ю мушкетерскую роту, я был тоже «шмарой». Помню, однажды (дай как забыть это!) меня обучал стойке ефрейтор Д-сов 1-й; не привыкнув еще к тяжести ружья и простояв несколько минут «под приклад», я искривился и выпятил правый бок. Не догадался Д-сов дать мне отдохнуть, а заметил только, что я стою кренделем; само собой разумеется, что одно его замечание не могло распрямить мою фигуру. Что же Д-сов? Не говоря дурного слова, поднял свое ружье и двинул меня в бок прикладом. <...> Пусть извинит меня читатель, если я отрываюсь иногда от рассказа и вдаюсь, скажут, может быть, в мелочи. Но вот в том-то и дело, что это не мелочи, а крупные штрихи в картине тогдашнего нашего быта, затушевывать которые я не вижу никакой надобности. Возвращаюсь к рассказу.

Через час после обеда, который в этот день назначался несколько раньше, вокруг стен корпуса раздавался бой генерал-марша. Кадеты надевали походную амуницию, строились по батальонному расчету и выводились ротными командирами на

большой двор, где уже стоял столик с водосвятной чашей и был в готовности священник с остальным причтом для служения напутственного молебствия перед выступлением «в поход».

Пока батальон выстраивался и равнялся, двор наполнялся многочисленной публикой, пестревшей разнообразными дамскими нарядами и зонтиками, что придавало всей сцене праздничный вид. Это были родители, родственники и знакомые, приехавшие проститься с детьми; были и просто зрители, каких обыкновенно во множестве видим на военных парадах.
<...>

Но вот показывается знамя, раздается бой гвардейского похода, батальон отдает честь. Через несколько минут подходит директор. Снова команда: «На караул!», снова грохочут барабаны, гремит музыка.
<...> Обойдя фронт, директор приказывает построить каре. Пока батальон перестраивается и исполняется команда: «На молитву — кивера долой», священник с диаконом надевают ризы, и дьячок раздувает кадило. Начинается молебен тихим, согласным пением причта: *Царю Небесный...*

Восемь лет сряду приходилось мне присутствовать при таком молебствии, и всякий раз умилительные слова: *Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды* — приводили меня в благоговейный восторг, создававший в воображении моем лик Небесной Заступницы. Чиста и светла молитва юности.

Молебен кончается, священник обходит фасы каре, кропит нас святой водой, и батальон снова разворачивается в линию. Батальонный командир, младший штаб-офицер и адъютант садятся на лошадей; раздается команда: «По отделениям направо заходи», и потом: «Скорым шагом марш», — и мы под звуки горнов и грохот барабанов оставляем на два месяца Головинский дворец. Пестрая толпа сопровождает нас,

кто в экипажах, кто пешком; по пути присоединяются босоногие мальчишки и другой праздный люд, группируясь преимущественно около музыкантов. <...> Музыка, игравшая во все время, пока мы шли в черте города, развлекала нас, <...> притом же по мостовой идти было гораздо удобнее, между тем как за Проломной заставой тотчас же начиналась грунтовая дорога, обдававшая нас облаками пыли, что при невыносимой вони от находившихся поблизости боев составляло истинное мучение, особенно когда погода стояла жаркая.

Под Симоновым монастырем батальон останавливался, ружья ставили в козла, снимали ранцы и делали привал. Тут нам раздавали по булке и по кружке сбитню, а кого провожали матушки и тетушки, те усаживались с ними угощаться лимонадом, чаем, молоком, пирожками, апельсинами и проч., у кого что было запасено. <...> После двухчасового отдыха дежурный барабанщик ударяет повестку, мы поднимаемся, надеваем ранцы, берем ружья и по бою «фельд-марш» идем дальше. <...>

Наконец, усталые и покрытые с ног до головы толстым слоем пыли, приходим в лагерь. В последний раз батальон выстраивается на батальонной линейке для отдания чести знамени, при отнесе его в палатку батальонного командира; затем разводят поротно, делают расчет по палаткам, а мы расползаемся по всему лагерю, как муравьи в муравейнике. Наибольшее скопление и движение замечалось в унтер-штабе: это позади лагеря, около палаток служителей. Там старались раздобыться водой, чтоб утолить жажду и умыться, а затем захватить побольше хворосту для устройства себе кроватей, потому что палатки отводились совершенно пустые.

Кровати были главной заботой в этот вечер, несмотря на усталость и желание отдыха. Долго еще

после ужина возились мы с кольями, хворостом, соломой, подушками и все-таки проводили ночь кое-как; работа продолжалась и на другой день; а кто был поплоче да помешковатее, так у тех и на третий. По приходе в лагерь давали нам трехдневный отдых, и в эти-то три дня мы должны были окончательно устроиться в лагере.

Когда кровати были поделаны, начинались хлопоты об остальном хозяйстве: надо было достать где-нибудь кувшин, чтобы ходить за водой, припасти тертого кирпича для чистки медных вещей, отыскать какую-нибудь посудинку или просто черепок для ваксы и тому подобное. У кого были в Москве родные, тот заранее, перед выступлением в лагерь, запасался иголками, нитками, разного рода щетками и уж непременно складным садовым ножом, без которого в домашнем обиходе никак нельзя было обойтись.

К числу всех этих хозяйственных потребностей надо отнести также маленьких животных и птиц, которыми обзаводились кадеты преимущественно 2-й и 3-й рот.

Откуда что бралось: не успеешь прийти в лагерь, как появлялись кролики, морские свинки, щенки, прирученные галки, воробьи, молодые совы, коршуны и проч.

В палатку ставили по четыре человека — иногда по согласию, а то и просто по назначению фельдфебеля; в последнем случае малознакомых товарищей общая нужда и взаимные услуги иногда так тесно сближали в течение двухмесячной лагерной стоянки, что приязнь и дружба оставались на все время пребывания в корпусе. Самыми несчастными были те, которым приходилось стоять с унтер-офицерами: и воды ему принеси, и пуговицы вычисти, и туда сходи, и сюда; а попробуй не послушаться!..

В год, когда мне пришлось в первый раз отбывать лагерное время, житье было суровое. Умывальников не

было — ставили по два ушата с водой и ковшами; а так как для целой роты такой способ умыванья был слишком медлен, то приходилось самим ходить за водой и помогать друг другу умываться. Обедали под открытым небом из деревянных чашек и деревянными ложками, без вилок и ножей. В палатках во время жары духота, а при дожде — сырость, от которой не спасали никакие приспособления: ни подшиваемые наверх простыни, ни канавки, ни валики вокруг палаток.

Место для лагеря было выбрано чрезвычайно неудачно — кругом почти везде песок и ни одного деревца, ни одного кустика, которые разнообразили бы эту «сахару». Помню, что как-то, гуляя однажды по плацу и собирая на нем камешки, заметил я в стороне небольшую лужайку, которая посреди тощих песков красиво выдавалась и бросалась в глаза своей растительностью. Понравилось мне это местечко, и я любил ходить туда, сживал там один-одинешенек по часу и более. Присматриваясь к неправильным очертаниям краев лужайки, я уподобил ее не оазису, а острову, которому дал какое-то название, а себя воображал <капитаном> Куком. Фантазия моя так развернулась, что я однажды пришел туда с бумагой и карандашом, чтобы описать свой остров; но ничего из этого не вышло: оказалось, что гор на нем не было, так же как и замечательных заливов — так, разве бухточки небольшие. Произведения трех царств природы тоже не отличались особенным богатством и разнообразием: щавель, тмин, розовая кашка, из которой можно было высасывать мед, и еще какая-то трава с желтыми цветами, которой стебли имели острый вкус, отчего и называли ее дикой редькой, — вот все, что было из царства прозябаемого; кузнечики, стрекозы, шмели, пчелы и божьи коровки разных цветов — из царства животных, а ископаемые ограничивались окаменелостями и кремнями, к которым я присоединил

еще простые обыкновенные речные раковины и ракушки, находимые по песчаным берегам. Хотя географическая наука не обогатилась описанием открытого мной острова, но он все-таки казался мне самым приятным уголком во всем лагере.

Впоследствии, когда лагерь перевели из Ногатина в Коломенское, все переменялось. Приходя из Москвы, мы находили просторные и хорошо устроенные шатры, в которых помещалось по целому взводу; были устроены кровати, рукомойники и навес над столами; появились тарелки, ножи, вилки и другие удобства; но в 1835 году все было так, как я сказал выше.

После трех дней отдыха начинались лагерные занятия. Вставали мы в 6 часов, а в 7 были уже на ученьях, которые в первую половину лагеря бывали одиночные, шереножные и ротные, а во вторую большей частью батальонные. Какое бы ни шло ученье, Святловский всегда бывал на плацу, зорко и строго следил за наукой. «Чему не научимся теперь, тому уж поздно будет учиться зимой», — обыкновенно говаривал он, и нас учили; а притом, в силу русской поговорки, что за битого двух небитых дают, пороли. Ученье продолжалось два часа, после того развод, ординарцы и топографическая съемка; в час обед, до 6 часов отдых, от 6 до 8 опять ученье, потом ужин, в 9 заря, и в 10 ложились спать.

Когда перешли в Коломенское, то распределение времени было изменено. Так, например, после утреннего ученья, кто не участвовал в разводе, тех посылали на гимнастику, после которой всех усаживали в столовой за книги, чтобы повторить пройденное в минувшем курсе и подготовиться к будущему. Предметы для занятий были необязательны, кто чем хотел, тем и занимался: историей, географией, математикой, но больше всего занимались русским языком, то есть, ничего не делая, болтали всякий вздор.

Да правду сказать, могли ли идти в голову занятия мальчикам, путем не выпавшимся, утомившимся и проголодавшимся после разных экзерциций, да еще в полуденную пору, хоть бы и под навесом? С обеда до 4 часов давали отдых и в Коломенском, но он нередко уходил на разборку и чистку ружей, амуниционной меди и проч. С 4 часов кадет старших возрастов занимали стрельбой в цель, приемами при артиллерийских орудиях, работами в артиллерийской лаборатории и разбивкой какого-нибудь полевого укрепления.

Каждое воскресенье и праздник, когда кадеты освобождались от обыкновенных ежедневных занятий, назначался утром церковный парад, после которого батальон отправлялся в Коломенское, в церковь Казанской Божией Матери к обедне. Возвратясь в лагерь, мы освобождались на весь день и проводили время, кто как знал. Развлечений нам и здесь никаких не делали; по крайней мере ничто не давало заметить, чтобы начальство об этом заботилось, а между тем у нас под боком были Коломенское и Царицыно с их дворцами и садами. Из черты лагеря никуда, бывало, ни на шаг, разве только на купанье поведут; это было единственным нашим развлечением, да и то с горем пополам. До Москвы-реки надо было пройти версты полторы; пока удовольствие впереди, идешь бодро и весело, а поведут назад, опять раскиснешь, как будто и не купался. <...>

Поневоле, бывало, слоняешься по лагерю, не находя себе дела и ища развлечения в каких-нибудь шалостях и школьных выходках. Так, я помню, <...> случалось, что от скуки, от безделья сойдутся двое-трое и уговорятся идти на «фуражировку» за огурцами на крестьянские огороды. Мужикам не жаль было огурцов, но досадно было разоренье и притаптывание гряд, что неминуемо случалось, потому что «фуражирам» второпях некогда было рассуждать, что огурцов они

возьмут на грош, а попортят на рубль. Иногда охотникам до огурцов удавались их экспедиции, а иногда и нет. Увидит их какая-нибудь баба, работающая в грядках, и закричит раскатистым голосом: «Ах вы, разбойники, да что ж это вы делаете?!» Сломая голову, бегут в лагерь хищники и нередко натыкаются на кого-нибудь из начальства. Улика налицо, и заператься трудно, и вот «фуражиры» остаются не только без огурцов и редьки, но и без обеда, а подчас бывало и хуже.

Грубы и жестоки были наши нравы в первой половине 1830-х годов. Помню, что однажды, под вечер, чуть ли не в какой-то праздник (вероятно, для того, чтобы на другой день не отнимать времени от ученья), на площадку, находившуюся между палатками, стали сводить роты, а когда все заняли свои места и водворилась общая тишина, Святловский приказал исправлявшему должность адъютанта поручику Денисову прочесть приказ Статковского, из которого узнали, что двое из кадет старших рот уговорили служителя принести им штоф водки *и распили его*. Не знаю, почему последние слова обратили на себя особенное наше внимание, и мы, подражая голосу Денисова, повторяли потом: «и распили его». Виновных наказали вслед за чтением приказа, но отчего им пришла эта блажь в голову? <...>

Так проводили мы время в лагере. Чистый воздух был, кажется, единственным благом, которым пользовалась наша юность. <...> В последних числах июля директор делал батальону смотр, поверял, чему научились в лагере, и затем начинались толки о возвращении в Москву. В первых числах августа мы выступали из лагеря, а в половине месяца начинался новый курс.

Статковский часто ходил по классам, присматривался и прислушивался к учителям и

внимательно следил за ответами кадет, спрашиваемых в его присутствии; вообще, к умственному образованию воспитанников он относился весьма серьезно. Ни при одном из директоров лень и «неуспешность» в науках не преследовались так настойчиво и так строго, как при нем, даже, можно сказать, чересчур строго. <...>

Особенную услугу Московскому корпусу оказал Статковский приглашением способных и сведущих преподавателей, в которых тогда был крайний недостаток. <...> Большая часть преподавателей в первой половине 30-х годов были свои же офицеры, бывшие воспитанники кадетских корпусов Александровского царствования, между которыми если и встречались некоторые с основательными сведениями, то разве только по математике, а между тем, кроме Закона Божия, физики, химии, не было предмета, за преподавание которого они не брались бы. Нечего и говорить, что ученость их была весьма сомнительна, почему и выезжали они на щелчках да на толчках. Поверки познаниям и учительским способностям их тогда никакой не было, а потому попасть в преподаватели было очень легко — была бы только охота <...>. Впрочем, и то сказать, само высшее начальство на жалованье, выдаваемое корпусным офицерам за преподавание наук, смотрело как на «сердобольное пособие».

В 1836 году было высочайше утверждено «Положение о службе по учебной части в военно-учебных заведениях». Положение это <...> имело громадное влияние на учебную часть в кадетских корпусах. Действительно, служба учителей была поставлена в такие выгодные условия, что могла привлекать на эти должности людей вполне достойных, опытом доказавших свои познания и способности. Этим воспользовался Статковский <...>.

С особенной признательностью вспоминаю я об одном из своих учителей того времени — Михаиле Ивановиче Хоткевиче. Это был первый учитель, у которого мне пришлось учиться географии. Ему обязан я, что такой, по-видимому, сухой предмет на первых же порах не опротивел мне, как это случается с некоторыми; напротив, география показалась мне предметом весьма любопытным, и я полюбил ее. <...> Штатские учителя были вообще гуманнее и учтивее...

А. К. Воспоминания московского кадета // Русский архив. 1879. Кн. 2. № 7. С. 304–326; 1880.

Кн. 1. № 2. С. 449–473; 1882. № 2. С. 358–376.

П. П. Карцов

Из воспоминаний

Новгородский кадетский корпус.

1833–1839 годы

По воле и непосредственным указаниям императора Николая I в начале 1830 года был составлен проект учреждения губернских кадетских корпусов. Цель этой меры состояла в доставлении возможности малолетним дворянам различных губерний воспитываться для военной службы вблизи их семейств и родителей. <...> Первым губернским корпусом, основанным согласно высочайше утвержденного проекта и получившим прочное, самостоятельное устройство, должен считаться Новгородский кадетский корпус.

Основание его было ускорено тем, что генерал от артиллерии граф А. А. Аракчеев в 1833 году внес в Сохранную казну 300 тысяч рублей ассигнациями с тем, чтобы на проценты с этого капитала воспитывалось в Новгородском корпусе 17 кадет, уроженцев Новгородской и Тверской губерний. <...> Штат корпуса был утвержден на 400 кадет, но довести его до комплекта предполагалось в течение четырех лет, то есть к концу 1837 года, принимая ежегодно по 100 кандидатов. Это было сделано с той целью, чтобы директор мог приготовить все обзаведение исподволь, с осмотрительностью, не спеша с определением чиновников и учителей. По этому же поводу были составлены главным начальником Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов и Дворянского полка <великим князем Михаилом Павловичем> правила для постепенного приема кадет. Они были утверждены государем.

Хотя на основании этих правил все приемы были назначены в январе месяце, но кандидатов привозили в течение всего года и, не стесняясь их познаниями, принимали всех без исключения. <...> К 15 марта 1834 года^[21] было уже налицо 69 кадет. В продолжении 2 ½ месяцев, то есть с 1 января по 15 марта, нам уже успели придать военную осанку и настолько подготовить к встрече гостей, что мы показались достаточно выправленными и умеющими отвечать по-военному. Для этого обучения кроме своих офицеров было взято несколько унтер-офицеров учебного полка. Вообще, этот полк оказывал зарождающемуся корпусу полное во всем содействие <...>.

В первые три месяца по открытии корпуса классные занятия не были еще вполне регулированы. Кадеты находились в классах всего от 7 до 9 часов утра и от 3 до 5 после обеда. Остальное время употреблялось на обучение фронту, сигналам, общему пению и танцеванию. Эти занятия официально назывались тогда обучением *приятным искусствам*.

С наступлением весны жизнь кадет несколько оживилась. В свободное время их выпускали для прогулки и игр в небольшой сад, находившийся между корпусными флигелями и манежем. Там были поставлены качели, столб для гигантских шагов и гимнастические машины. Игры, существовавшие в других корпусах, весьма скоро ввелись и в новом: городки, лапта, большие пузырьчатые мячи, подбрасывать которые ногой выучил кадет учитель рисования <Николай Николаевич> Аберда, — все это сделалось любимым препровождением времени. Немалое развлечение доставляли кадетам ученья учебного карабинерского полка, проводившиеся на корпусном плацу. Особенно интересовали ученья с порохом и церемониальный марш под превосходный хор

полковой музыки. Иногда командир полка < флигель-адъютант полковник Бибилов > приказывал ему играть в саду собственно для кадет. Случалось, что вслед за полком пристраивали кадетскую роту, чтобы пропустить ее под музыку, что производило общую радость.

В первый же год существования корпуса обнаружилось, что избранная для него местность имеет много неудобств для служащих в нем. Отсутствие малейшего признака торговли заставляло за всякой мелочью домашнего быта ждать случая посылки за 28 верст в Новгород.

Но неудобство, испытываемое служащими, с лихвою окупалось той пользой, которую представляло уединение корпуса воспитанию и образованию кадет. Долго в нем держались те патриархальные, семейные отношения кадет к офицеру и учителю, которые нравственно влияли на юношей гораздо более, чем официальные методы и правила. Долго новгородские кадеты были чужды тем привычкам и шалостям, которые получили гражданство в столичных корпусах. С другой стороны, те же офицеры и учителя, не имея ни посторонних знакомств и занятий, не имея никаких развлечений, находили его единственно в стенах заведения. Всякая свободная минута проводилась ими среди кадет, где бы они ни были, и приносила пользу, потому что кадеты видели в своих офицерах и учителях людей нравственных, преданных долгу, желающих не только по обязанности, но и по любви к ним даже в частных разговорах и беседах принести пользу и словом, и примером. Входя в возраст, кадеты, конечно, не могли не замечать в этих людях некоторых недостатков или смешных сторон, не могли воздержаться от рассматривания той или другой странности. Столь сродная юношескому возрасту насмешка высказывалась или гласно, или в виде

письменной сатиры, но никогда не имела характера ненависти и озлобления. Кадеты в большинстве любили и уважали офицеров и учителей первого состава.

В следующем 1835 году корпус был впервые осчастливлен посещением государя Николая I вместе с великим князем Михаилом Павловичем. Это было 27 апреля, в ясный весенний день, между двумя и тремя часами дня. Государя ожидали с утра; <...> с полудня стоял почетный караул от учебного полка и при нем съехавшиеся из окрестностей генералы. Все это возбуждало детское любопытство кадет, которых своевременно повели к обеду, во время которого прискакал передовой фельдъегерь. Кадеты моментально разбежались по камерам и стали у своих кроватей, где пришлось прождать полчаса. Несмотря на запрещение никому не выглядывать в коридор, находились смельчаки, взбиравшиеся при малейшем шуме на высокие подоконники в надежде первыми взглянуть на царя. Само собой разумеется, что в этот день чистота камер была доведена до совершенства. Кадеты в новых с иголки куртках, белые как снег с пунцовыми каймами одеяла, чистые и разглаженные чехлы на изголовьях, полы, наложенные как зеркало, — все это придавало праздничный вид заведению. В ожидании прибытия государя то один, то другой из начальства входил в камеры с различными торопливыми подтверждениями и приказаниями. Офицеры в своих отделениях то репетировали, как отвечать государю, то поверяли выправку; одному приказывали еще раз пригладить волосы, другому обтянуть куртку, третьему показать, чист ли у него платок, и т. п.

Наконец, сначала отдаленный, а потом все ближе и яснее слышимый шум нескольких экипажей прекратил ожидание. Передовая коляска остановилась у корпусного крыльца. В ней государь с великим князем

<Михаилом Павловичем>. Они вместе вошли в камеру 1-го отделения. Прежде чем поздороваться, Его Величество окинул взглядом кадет; они, казалось, затаили дыхание от желания услышать его голос, поймать его взгляд. Кто испытывал на себе этот магический взгляд, тот поймет значение этих слов и не припишет сказанным для фразы.

Государь появился веселым, с отражением удовольствия на лице. Первыми словами были: «Здравствуйте, дети!» Кадеты радостно и дружно ответили. Проходя в следующую спальню, Его Величество обратил внимание на налощенный пол и не прошел, а прошаркнул по нему как по льду, оставляя на полу след от запыленных на дороге сапог. «Вы так не катайтесь, — сказал он, обращаясь к кадетам, и затем, указывая на директора <генерал-майора Александра Ивановича> Бородина, прибавил: — А то он рассердится».

В третьей камере государь похвалил выправку, говоря: «Они стоят молодцами, не хуже петербургских», — останавливался, спрашивал фамилии, где служил отец, привык ли в корпусе и проч. У некоторых кроватей император отодвигал подушки или отдергивал одеяла, чтобы видеть чистоту белья и качество тюфяков. <...>

Сразу после обеда поданы были дорожные экипажи. Кадетам дозволено было выйти к подъезду; они окружили коляску государя. Садясь в нее, Его Величество благодарил директора за здоровый вид мальчиков, за их выправку и порядок в корпусе и затем, сказав: «До свидания, дети!» — уехал. <...>

С увеличением числа кадет, офицеров и учителей внутренняя жизнь с каждым годом делалась несколько разнообразнее и веселее. В ротах явились желающие учиться музыке на различных инструментах, для чего кадеты на свой счет нанимали учителей из музыкантов

учебного полка. <...> Кроме того, к весне 1836 года образовался очень порядочный хор певчих <...>.

Еще большее участие воспитателей того времени к кадету доказывает то, что семейные офицеры и многие учителя по праздникам брали лучших учеников к себе в отпуск сразу после обедни и оставляли до вечерней зари. Не семейные же <...> почти каждое воскресенье приходили к кадетам: одни — прочесть вслух что-либо интересное и забавно-поучительное, другие собирали человек по пятнадцати и более и, с разрешения директора, отправлялись с ними гулять по берегу реки или в лес. В хорошую погоду подобные чтения и рассказы происходили в саду, где собравшаяся группа садилась в кружок на траву, с учителем в середине и с жадностью слушала его. Прогулки в лес или в деревню особенно любили <учителя> Нюккер и Нот. Дорогою кадеты, кто как умел, болтали с ними по-французски или по-немецки, слушали рассказы о заграничной жизни, бегали взапуски, прыгали через канавы, собирали полевые цветы и незаметно уходили от корпуса верст за восемь в какую-нибудь деревню, где обыкновенно делали привал. Тут учитель покупал несколько крынков молока и несколько фунтов черного хлеба и угощал своих спутников, с которыми в том же непринужденном порядке возвращался к ужину в корпус. <...>

В начале 1837 года директор Бородин заболел; в феврале он уже не выходил, а в марте просил уволить его от должности, почему и был отчислен состоять по военно-учебным заведениям. Это была утрата незаменимая. В какой мере Александр Иванович Бородин честно и добросовестно трудился для корпуса, как он искренно любил кадет, видно из последнего, прощального его приказа, отданного 16 марта 1837 года. Приводим из него извлечения.

«Крайне болезненное состояние заставило меня преждевременно расстаться с заведением, устройство которого было доверено мне монархом. Осчастливленный таким поручением государя императора, я ревностно, сколько сил моих было, старался доставить новому корпусу все необходимое для прочного устройства, ввести неизменный порядок, установить направление и ход воспитания детей и указать образ действий их начальникам. Я не смею и не должен все это приписывать себе одному. В душе моей навсегда сохранится признательная память о моих сотрудниках, разделявших труды общего нашего святого дела.

Любезные дети! По чувствам моим к вам и по любви, которые легче сознавать, чем высказать, тяжело мне расставаться с вами. Доброй своей волей и неуклонным стремлением к утверждению себе чести, наконец исполнением в точности делаемых вам ближайшими начальниками наставлений, вы каждого заставили полюбить себя душевно.

Простите мне, дети, что я не в состоянии прийти к вам, поблагодарить вас, побеседовать с вами, быть может в последний раз. Тяжкая болезнь, несмотря на все мое желание, не позволяет мне исполнить это. Чувствую, что я не в состоянии был бы перенести прискорбного для себя расставания с вами. Примите через этот приказ мое заочное прощанье и запечатайте в сердцах ваших немногие слова, которые в последний раз и навсегда завещаю вам. Умоляю вас, друзья мои, дорогие моему сердцу кадеты! Будьте всегда такими же добрыми, честными и благородными, какими вы были при мне; будьте внимательны к вашим начальникам и наставникам, принимайте сердцем и исполняйте в точности все вам внушаемое; будьте прилежны к наукам, благородны и честны в поступках не по наружности одной, а по искренности душевных

чувств, по сознанию чистой совести. Помните, что с юности вы должны приучать себя к неуклонному исполнению и дисциплине, дабы впоследствии быть полезными себе и отечеству и соделаться верными и достойными слугами своего государя!»

В этом приказе вполне выразилось то направление воспитания, которое было дано Бородиным новгородским кадетам его времени. Последующая жизнь и служба их доказали, что они исполнили завет своего первого директора и за ничтожными, быть может, исключениями оправдали его надежды. <...>

После Бородина вторым директором корпуса был генерал-майор <Андрей Андреевич> Петровский. <...> Старый кавалерист, участвовавший в 85 сражениях, это был в полном смысле добряк, никогда не готовившийся стать во главе воспитательного заведения. <...> Кадеты любили Петровского за его доброту, ласковость и заботливость о их содержании.

Для развлечения кадет с 1837 года в корпусе устраивали спектакли, сначала вполне домашние, но потом развившиеся до того, что в одной из зал гренадерской роты была устроена постоянная сцена. Главными распорядителями этой забавы были капитан Аралов и учитель танцевания Шелковников. Первый занимался декоративной частью и костюмами, второй режиссировал и брал на себя те роли, которые были потруднее, не исключая даже женских. <...>

Кроме театральных представлений по зимам во время Святков и Масленой устраивали балы, даже костюмированные. Последними распоряжался тот же капитан Аралов. Этого рода удовольствия были не только развлечением, но отчасти и поощрением, потому что на балы допускали не всех, а только лучших по классам и поведению. Для первых учеников костюмы брали на счет корпуса, прочие должны были платить за них. Обыкновенно дня за два до маскарада капитан

Аралов отправлялся в Новгород и брал их напрокат <...>. Привозили, что попало, но тогда все казалось прекрасным. Кадеты являлись одетыми испанцами, маркизами, арлекинами, цыганами и т. п. Некоторые ухитрялись замаскироваться местными средствами, доставая кое-что у семейных офицеров и учителей, охотно принимавших на себя заботу угодить хорошему кадету своего отделения или лучшему ученику своего класса.

Но все подобного рода развлечения не могли заменить собою той радости, которую ощущали кадеты с приближением отпусков к родным на праздники Рождества и Святой недели, а первые три года — и на летние каникулы, с половины июня до начала августа. Такого рода отпуска были эпохами, и не было большего горя, как подпасть под наказание — не быть уволену в подобный отпуск. Накануне увольнения, а иногда и дня за два до него начинался съезд родных или присылка родственниками кибиток и бричек с доверенными слугами, чаще же старушками-нянями, зимой привозившими своим питомцам тулупчики, валенки и платки, закутывать их взбалмошные головы. Тогда железных дорог не было, а езда по проселкам на почтовых невозможна, поэтому за всеми присылали своих бурок и сивок. Один вид кучера или слуги, на глазах которого собирающийся домой родился и вырос, переносил последнего в круг родной семьи; а доморощенная кляча, на которой он учился садиться еще ребенком, производила отрадное впечатление. <...> Многие из увольняемых брали с собою товарищей, не имевших родных. Последнее разрешалось только особенно хорошо учившимся, если родители приглашающего присылали письменное заявление, что желают иметь у себя такого-то товарища своего сына или родственника.

То, что в кадетах 1830-1840-х годов существовал истинный дух товарищества и чувства любви и участия друг к другу, доказывается фактами. Немало между ними было таких, которым не на что было купить себе не только какое-либо лакомство, но даже карандаш или лист почтовой бумаги на письмо к матери. Стоило ему обратиться к товарищам, и отказа никогда не было. Не было примера, чтобы тот, к кому присылали или привозили гостинцы из дома, не поделился ими. К кому приезжали на воскресенье родные (а у иных они гостили неделями), те всегда приглашали к себе трех-четырех товарищей. <...>

На летние вакации 1837 года отпуска к родным не было, потому что корпус, впервые по его учреждению, был выведен, за исключением неранжированной роты, в лагерь. Место для него было избрано в нескольких шагах от корпусного здания, позади директорского сада, на песчаной, неприглядной равнине. Там шесть больших шатров были поставлены в одну линию. За ними разбили несколько палаток для служителей, а затем ни кухонь, ни столовых навесов при лагере не было. Кадет водили к обеду и ужину в корпусное здание.

Несмотря на это, вывод в лагерь, как новинка, занимал воспитанников. Им нравилось быть дежурными и дневальными, вызывать и выбегать на линию, нравилось строиться к заре и на ученья на линейках, устанавливать свои до блеска отчищенные ружья в пирамиды. Все это, вместе с первыми ученьями в составе батальона, занимало их. Кстати заметим, что в кадетах того времени любовь ко всему фронтовому была сильно развита. Ленившись во фронте — значило подводить товарищей. Передалось ли это от соседства идеального по фронтовой части учебного полка или от общего направления молодежи того времени, — решить трудно. Чем кто короче делал ружейные приемы, чем

красивее маршировал, — тем большим авторитетом пользовался в своей роте. Даже к тем из прикомандированных офицеров, которые громче и ловчее командовали, кадеты относились с большим доверием и симпатией. <...> В начале 1839 года было, наконец, получено положительное распоряжение штаба военно-учебных заведений о доставлении к 1 июня старшего отделения 5-го класса, для окончания курса, в Дворянский полк. Откладывание этого перевода с года на год привело к тому, что кадетам как-то не верилось, что и теперь он состоится, так обжились они в стенах корпуса. Пять лучших юношеских лет, проведенные в одном заведении, в кругу один и тех же лиц, без всяких посторонних интересов, для многих даже без свидания с родными, до того сблизили кадет первого выпуска со всеми окружающими, что им казалось невозможным очутиться в другой обстановке, среди других взглядов и обычаев. <...>

В половине мая экзамены были окончены и 39 кадет назначены к отправлению в Дворянский полк. Две недели, остававшиеся до выезда, прошли незаметно: выпускных обмундировали с особою тщательностью, изредка занимали строевыми учениями и хотя в определенное время водили в классы, но там предоставлено было заниматься повторением того, что каждому казалось нужнее. Учителя проводили свои часы в объяснениях и беседах с теми, кто обращался к ним; общих же лекций уже не было. <...> Эти последние беседы можно назвать прощанием отцов с детьми, и если бы в то время можно было записать сказанное ими, то теперь прощальные их наставления могли служить драгоценными, документальными доказательствами того высоко честного и вполне нравственного направления, какое получали новгородские кадеты, оставляя свой родной корпус. <...>

Наступил день отъезда первого выпуска. Последнюю ночь провели выпускные в своих ротах, на постоянных своих местах, потому что не были отделены от товарищей и до последней минуты пребывания в корпусе фельдфебеля и унтер-офицеры исполняли свои обязанности с той точностью, как будто им предстояло еще долго отвечать за свои отделения <...>.

На следующий день, 29 мая, простившись с провожавшими, часов в 7 утра выпускные разместились в девяти огромных каретах, запряженных четверками, и тронулись в дальнейший путь. На переезд 180 верст употреблено три дня, которые можно было назвать прогулкой. <...> Чем ближе подъезжали к Петербургу, тем больше возрастало любопытство скорее увидеть его. Никому в то время не приходило на мысль, что с этим приближением начинается отдаление от беззаботных детских лет, проведенных в мирном уединении корпуса, о которых многим придется вспомнить с сожалением, зачем они прошли так скоро и безвозвратно. Никто в минуту своего въезда в столицу не остановился на мысли, что для каждого начинается жизнь новая, в кругу новых лиц, новых порядков и требований, жизнь, сопряженная с большими трудами, заботами и ответственностями.

1839 года 31 мая в 6 часов вечера первый выпуск Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса вышел из экипажей у подъезда Дворянского полка...

Карцов П. П. Новгородский кадетский корпус.

Его открытие и первые годы // Русская старина. 1884. Т. 41. № 3. С. 519-544; Т. 42. № 4. С. 111-128.

В. Г. фон Бооль

Из воспоминаний

Александровский малолетний

Царскосельский кадетский корпус.

1841-1846 годы

...Летом в 1841 году мы сидели за обедом, когда в комнату вошел человек с казенным пакетом и подал его моей матери. Распечатав пакет, мать с радостным видом объявила, что я определен в малолетний Александровский кадетский корпус, куда должен быть доставлен 10 августа.

«Рад ли ты?» — обратилась мать моя ко мне с вопросом.

Не имея ни малейшего понятия о корпусе и не зная, как скоро это будет, я только улыбнулся. Все приняли мою улыбку за знак удовольствия и тотчас успокоились, что мальчика, едва достигшего шестилетнего возраста, приходится отрывать от семьи и отдавать в казенное заведение.

Срок определения моего в корпус наступил гораздо ранее, нежели я воображал себе; менее чем через месяц меня повезли в Царское Село, где находился Александровский корпус, и представили директору корпуса генерал-майору Ивану Ильичу Хатову. После медицинского осмотра меня поместили в третью роту во второе отделение, к классной даме Вознесенской.

Трудно передать словами те чувства тоски и одиночества, которые наполнили все мое существо, когда моя мать уехала в Петербург, оставив меня одного. Я, росший дома почти без надзора, вдруг попал под строгую дисциплину кадетского корпуса старых времен, где играть и бегать позволялось лишь на

определенном небольшом квадрате залы, а летом почти на такой же величины квадрате плаца, со ста другими детьми одной и той же роты; где для того, чтобы пообедать или поужинать, надо было построиться маршировать в столовую всем четверемстам кадетам в ногу; чтобы выйти на прогулку — опять строиться и маршировать; точно так же маршировать в классы, из классов в спальню, из спальни для умыванья (причем маршировали в умывальную комнату по отделениям под надзором классной дамы воспитанники в одном нижнем белье).

Оставшись один в корпусе, я не плакал, несмотря на страшную тоску, овладевшую мной; не плакал только потому, что не в моем характере были слезы. Я в детстве своем всегда всех удивлял тем, что редко плакал, да и то так, чтобы этого никто не видел, где-нибудь в скрытом месте. Я помню, что меня дома даже называли бесчувственным, не видя никогда у меня слез.

Надо отдать справедливость Александровскому корпусу, что не в нравах заведения было обижать новичков; напротив того, товарищи мои старались всячески развлечь меня, занимали меня рассказами о порядках заведения, о своем житье-бытье и даже успели меня научить, как я должен вести себя ввиду предстоящей мне перемены.

Дело в том, что в ротные отделения, куда я попал, помещались воспитанники не моложе семи с половиной лет, а так как мне было всего шесть лет, то я должен был по крайней мере полтора года находиться в особом малолетнем отделении. Как впоследствии я сам убедился, в малолетнем отделении было детям гораздо лучше, нежели в ротных отделениях, но товарищи мои, никогда в нем не бывшие, почему-то составили себе о нем очень дурное представление. Сообразив, что я по летам своим буду переведен в малолетнее отделение, они стали описывать мне его в самых мрачных красках,

чем успели совершенно напугать меня; в заключение они посоветовали мне просто не идти туда, уверив меня, что в таком случае меня оставят в роте. Я решился поступить по их совету.

Когда в тот же день воспитанники построились к ужину, директор Хатов взял меня за руку и повел в малолетнее отделение, воспитанники которого также приходили в строй и становились в конце залы. Я упирался и вырывался из его руку, так что Хатов с трудом тащил меня через всю залу; когда же он наконец поставил меня в строй к другим детям, я тотчас же убежал на свое прежнее место, причем Хатов, добрый седой старичок, оставил меня в покое, не сказав ни слова.

Когда сели ужинать, старшая дама третьей роты Елизавета Николаевна Боньот, отличавшаяся строгим и раздражительным характером, подошла ко мне, накричала на меня заслушание и дерзость директору и настращала такими крутыми мерами, что я сразу потерял всякую решимость на дальнейшее сопротивление, и когда на другой день при построении к обеду Хатов снова повел меня в малолетнее отделение, я пошел без всякого сопротивления и отобедал на новом месте; однако после обеда я снова ушел в роту.

На следующий день отделенная моя дама, Вознесенская, сама отвела меня в помещение малолетнего отделения и сдала на руки заведовавшей отделением даме, добрейшей старушке Марье Ивановне Боньот. Марья Ивановна занималась в это время с двумя только что поступившими к ней новичками, показывая и объясняя им картинки; она и меня посадила около себя и стала занимать рассказами. Но рассказы товарищей повлияли на меня так сильно, что, несмотря на доброту и ласки старушки, я только думал о бегстве, и это удалось мне исполнить часа через два, когда Марья

Ивановна вышла в другую комнату. Однако ласковое обращение Марьи Ивановны не прошло бесследно: я увидел, что в малолетнем отделении совсем не так дурно, как мне говорили, я даже стал жалеть, что был так неблагодарен к доброй старушке, и когда Вознесенская вторично свела меня к ней, я уже больше не пытался бежать.

Станным кажется мне теперь, почему ни директору, ни одной из классных дам не пришло в голову расспросить меня о причине такого упорного с моей стороны нежелания идти в малолетнее отделение; никто из призванных для воспитания детей лиц не поинтересовался, почему шестилетний мальчик, только что привезенный в заведение, несомненно, скучающий по дому, вполне покоряется своей участи и остается в одном месте, но решительно отказывается идти в другое, хотя и то и другое места для него совершенно новые и незнакомые? Но дело объясняется тем формальным отношением к своим обязанностям, какое существовало между классными дамами. Почти за единственным исключением, о котором будет сказано ниже, классные дамы относились к детям без всякой сердечной теплоты, ограничивались одним только внешним надзором и обильным распределением всевозможных наказаний. Могу еще считать очень необыкновенным то обстоятельство, что ни директор, ни отделенная дама не наложили никакого наказания, как это следовало бы по понятию Е. Н. Боньот, сразу постращавшей меня розгами. <...>

Александровский корпус помещен был в Царском Селе в особом трехэтажном здании, в котором с большим удобством расположены были спальни, классы, рекреационная зала, столовая, церковь, лазарет и квартиры классных дам. Квартиры учителей, директора, инспектора и других, служивших при заведении лиц помещались в особом флигеле. При

заведении находился большой сад, при нем с одной стороны — песчаный плац, а с другой стороны такой же величины луг; кроме того небольшой садик с гимнастическими снарядами и большой двор с мостками для прогулок в зимнее время. Рекреационная зала была вместе с тем и гимнастической залой, но все гимнастические машины находились на одном конце ее и были отделены скамейками от той части, которая назначалась для игр детей. Столовая зала находилась рядом с рекреационной. Спальни помещались в первом и втором этажах главного трехэтажного здания, в верхнем этаже которого находились классы, помещение малолетнего отделения, церковь и лазарет.

Все четыреста воспитанников были интернами и разделялись на четыре роты от 90 до 95 человек в каждой и еще малолетнее отделение. Каждая рота делилась на три отделения, так что все заведение состояло из тринадцати отделений (считая и малолетнее), каждое под особым надзором и руководством классной дамы. В малолетнее отделение поступали дети семи и шести, в редких случаях пяти лет. По достижении восьми лет эти дети переводились в одно из ротных отделений. Всех детей в малолетнем отделении бывало от 25 до 28. Поступавшие в заведение старше 7 $\frac{1}{2}$ лет определялись прямо в ротные отделения.

Малолетнее отделение помещалось особо от остальных; оно имело отдельную спальню, из которой выходила дверь в квартиру классной дамы. Квартира дамы состояла из трех комнат: двух маленьких и одной большой; последняя была местом препровождения свободного от классного времени всех воспитанников малолетнего отделения, куда и собирались дети по окончании классных уроков.

Каждое ротное отделение имело свою спальню, из нее вела дверь в квартиру отделенной дамы; квартира

эта представляла одну очень большую комнату, разделенную филенчатыми перегородками на три комнаты: большую и две маленькие; первая назначалась для занятий воспитанников, остальные две принадлежали даме.

Три отделения, составлявшие одну роту, помещались рядом и представляли как бы отдельное воспитательное заведение. Одна из трех дам, по представлению директора корпуса и утверждению этого представления высшим начальством, назначалась старшей; она получала несколько большее содержание против остальных и имела право налагать более строгие взыскания (например, розги) и производила отпуск воспитанникам всей роты. Во всех исключительных случаях классные дамы остальных двух отделений обращались за советом и содействием к старшей даме. Дамы одной роты дежурили по очереди, через два дня на третий, по всей роте.

При каждом отделении состояли три няньки, которые прислуживали за столом воспитанников, чистили одежду их, убирали спальни. Вся остальная прислуга была мужская. В помощь дежурным дамам при каждой роте состояли двое дядек из заслуженных отставных унтер-офицеров, которые дежурили через день и находились при воспитанниках только в рекреационное время.

Курс обучения Александровского корпуса был элементарный и состоял из четырех классов. Младший класс назывался *приемным*, сюда поступали дети, не знавшие грамоты. Кроме того, было еще три класса, из них каждый разделялся на три параллельные отделения, так что всего было 10 классных отделений на 400 человек, то есть средним числом на класс приходилось по 40 человек.

Для поступления в заведение экзамена не требовалось, подвергали же детей испытанию, чтобы

правильно распределить по классам: большая же часть поступающих ничего не знала и потому прямо поступала в приемный класс, обыкновенно самый многочисленный по своему составу. Так как дети поступали в заведение различного возраста, то и время их пребывания в заведении было различно. Поступивший, например, девяти лет с месяцами оставался в корпусе всего один год, а поступивший пяти лет был пять, а иногда и шесть лет в заведении. Таким образом, правильно прошедших все четыре класса заведения и окончивших элементарный курс было довольно мало, большинство же проходило два и, много, три класса.

Классная дисциплина вообще была очень строга; но дети привыкали к ней очень скоро, вследствие совершенно одинаковых требований всех учителей. О всяком желании своем ученик заявлял поднятием руки, ожидая вопроса со стороны учителя. Без приказания учителя на столах не появлялось ни книги, ни тетради. Учителя наблюдали, чтобы дети сидели прямо, заложив обе руки назад.

Все эти правила классной дисциплины и самый метод преподавания были введены и поддерживались в заведении бывшим в то время инспектором классов полковником Федором Федоровичем Мецом, который жил около двух лет за границей, преимущественно в Германии и Швейцарии, куда он был командирован для изучения методов преподавания в начальных школах. Имея в своем распоряжении довольно слабый состав учителей, Федор Федорович умел, однако, научить их тем приемам, которые были наиболее целесообразны при обучении малолетних детей. Но при высокой подготовке учителей они большей частью усвоили только внешнюю форму, внешние приемы преподавания, а самое преподавание отличалось довольно бедным содержанием, что особенно было

заметно в учителях русского языка, от которых требовалось также сообщение детям сведений из естественной истории и географии. Лучше всего велось дело по арифметике<...>; по иностранным же языкам была в буквальном смысле слова «долбня».

Наказания велись в классах в самых широких размерах. В руках учителя находились следующие наказания: заставляли ребенка стоять на месте более или менее продолжительное время; ставили к стене или в угол; высылали из класса за дверь; ставили в журнал дурной балл (даже и за невнимание); записывали в классный журнал (обе последние меры считались особенно сильными, так как дурные баллы и записи выписывались к воскресенью в особую книгу, и классные дамы оставляли записанных без последнего блюда и ставили стоять на час или полтора во время игр); приносилась жалоба инспектору классов, причем обыкновенно дело кончалось розгами.

Надо отдать справедливость учителям, которые никогда не прибегали к собственноручной расправе <...>. Тасканье за волосы, за уши и т. п. меры, столь распространенные в то время в других заведениях, здесь никогда не применялись.

К мерам поощрения относились: постановка в журнал хорошего балла (в заведении принята была 12-балльная система); письменное заявление в журнале о хорошем учении; пересаживание учеников с места на место.

Последняя мера считалась особенно важной. В начале курса все ученики рассаживались по скамейкам по старшинству баллов, полученных ими на переводном экзамене. Учитель за хороший ответ пересаживал выше, а за дурной — ниже, так что через несколько дней после начала курса дети у каждого учителя сидели в особом порядке, и притом порядок этот изменялся

почти каждый урок. Сами дети хорошо помнили порядок для каждого учителя и строго удерживали его.

Кроме этих мер в руках начальства были и более строгие наказания и поощрения. За хорошие успехи назначали подарки, записывали фамилию на красную доску, а за упорную леность и дурное поведение — на черную доску. Черная доска считалась столь важным наказанием, что разом даже не записывалась вся фамилия мальчика, а сперва писали первую букву фамилии, потом вторую и т. д. В продолжение пяти лет моего пребывания в заведении на черной доске ни разу не было написано более трех букв, да и то только однажды. <...>

Пропуски уроков учителями бывали очень редки. Учителя жили тут же в здании, имели занятия только в заведении, поэтому были всецело преданы ему и приходили в классы, даже будучи не совсем здоровыми. В случае продолжительной болезни учителя уроки его обыкновенно занимала дежурная классная дама, которая исключительно занималась с детьми французским языком.

Классные занятия продолжались от 15 августа до 15 июня. В конце учебного года производились экзамены, но не по всем предметам, а по одному или двум, по назначению инспектора классов. О дне экзамена заранее не объявлялось, только в старшем классе это было известно дня за два. В то время, как в одном классном отделении производился экзамен, во всех остальных классах шли обычные занятия. Цель экзамена, как видно, заключалась в контролировании учителя; принятый же порядок экзамена, то есть назначение его только по некоторым предметам и без предварительного приготовления, не обременял детей и не выводил их из обычного строя жизни, и потому можно считать вполне правильным.

По окончании годовых занятий лучшим ученикам назначались подарки, состоявшие из книг. Ко дню, назначенному для раздачи наград, все заслужившие их дети долго приготавливались у танцмейстера и его помощников, как подходить к столу, кланяться на три стороны, принимать подарки, отступать два шага, снова кланяться на три стороны, а затем уходить на место. Раздача производилась в присутствии многочисленной публики, приглашенной из Петербурга, и каждому мальчику вручались подарки при звуках труб и литавр, игравших туш. <...>

Ближайшими и непосредственными воспитателями детей Александровского корпуса были классные дамы. Поступивший в корпус ребенок оставался до выхода из него у одной и той же дамы, исключая того случая, когда он по годам своим должен был пройти через малолетнее отделение. Во всех своих нуждах ребенок обращался к своей даме, которая должна была заменить ему родную мать. Классными дамами определялись только девицы или вдовы, причем последние могли иметь при себе малолетних детей; это постановлено было для того, чтобы дамы не отвлекались заботами о своем семействе и всецело посвящали себя своим питомцам. Чтобы снять с воспитательницы по возможности все заботы по хозяйству, им полагался казенный стол (обед и ужин); чтобы, наконец, воспитательница могла постоянно, во всякое время следить за вверенными ей детьми, она имела свою квартиру, расположенную рядом с детской спальней, и одна комната ее была, так сказать, детской ее питомцев; здесь дети занимались приготовлением уроков, здесь они играли, если занятий не было, и здесь же несколько человек ее отделения проводили свободное свое время, особенно во время праздников.

Малолетнее отделение, в которое я поступил в августе 1841 года и в котором находился до половины

марта 1843 года, помещалось совершенно отдельно от других воспитанников. Классная дама сама отпускала детей в классы, а по окончании классов дети приходили прямо на квартиру дамы. Только во время стола дети находились в общей столовой с другими возрастами, все же остальное время они оставались лишь под надзором своей дамы, которая по своему усмотрению ходила с ними гулять в сад или по коридору.

В малолетнем отделении воспитание детей было *домашнее* в полном смысле слова. С самого основания Александровского корпуса и до 1843 года классной дамой малолетнего отделения была добрейшая старушка Марья Ивановна Боньот, которая перешла в Александровский корпус из бывшего малолетнего отделения 1-го кадетского корпуса, где начала свою службу, кажется, еще при Александре Павловиче, в первые годы его царствования. Образования она была скромного, даже не говорила по-французски (по крайней мере мы, дети, никогда не слыхали от нее ни одного французского слова), что ставилось непременно условием при назначении классных дам, но обладала в высшей степени добрым сердцем и любовью к детям. Сколько лет она провела в кругу детей, я не знаю, но она до такой степени свыклась с своим положением, что ее нельзя было себе представить без детей. Имея две отдельные маленькие комнаты, она только спала в одной из них, с раннего же утра и до того времени, как дети уснут, она от них не отлучалась. <...> Она не знала другой жизни, как жизнь с детьми: гуляла тогда, когда им надо было гулять, обедала и ужинала, когда они обедали и ужинали, ходила с ними в Царскосельский парк. В полтора года, которые я ее знал, она ни одного раза не оставляла нас даже на самое короткое время. <...> Никакого воспитательного плана или воспитательной системы Марья Ивановна не имела, да и не знала; она жила с

детьми, не позволяла им ссориться и браниться, смотрела, чтобы они всегда были опрятны, чтобы вовремя ложились и вставали, вовремя уходили в классы; иногда показывала и объясняла им картинки, иногда спрашивала азбуку, которую дети только что выучили в классе, — словом, приучала их к порядку, к добрым взаимным отношениям, старалась их развлекать, действуя по внушению доброго, любящего сердца. Наказание она, правда, употребляла, но очень редко, в виде исключения и то только одно наказание: недолго постоять отдельно от товарищей; без пищи она никогда не наказывала, точно так же никогда не употребляла телесного наказания, столь распространенного во всех других отделениях Александровского корпуса.

Дети платили ей, со своей стороны, также любовью и искренностью. С каждой безделицей, со всяким цветочком, ягодкой или жучком, найденным в саду, дети бежали показать ей их и никогда не надоедали этим; она всегда посмотрит то, что ей показывают, и скажет несколько ласковых слов. Подарит ли ребенку в классах кто-нибудь карандаш, перо или тетрадку, он бежит из класса прямо к ней, показать свой подарок, думая ее обрадовать так же, как сам обрадовался, и она действительно радовалась всякой детской радости.

Несмотря на весьма редкое употребление наказаний, дух послушания и исполнительности царствовал в малолетнем отделении; зато, вследствие мягкости воспитания, дети отличались откровенностью, сердечной добротой и мягкими отношениями друг к другу: драки если и случались, то только между новичками, привозившими привычку к ним из дома, но в отделении дети скоро отучались от них; дети никогда не покушались отнять что-нибудь у своего товарища или без позволения взять чужую игрушку, которая

всегда лежала на виду, так как ящиков и шкафов не было вовсе. <...>

В марте 1843 года мне должно было исполниться восемь лет, и мне предстоял перевод в ротные отделения; незадолго до моего перехода, на Рождестве, Марья Ивановна сильно заболела и к концу праздников, в январе, умерла. Она была католичка, и потому ее отпевали не в нашей церкви; по случаю больших холодов хоронили ее без нас; прощаться с ней не сочли удобным вести нас, и таким образом мы ее уже не видали от начала рождественских праздников.

После смерти М. И. Боньот, вероятно, по распоряжению великого князя Михаила Павловича, был отпечатан портрет ее, на котором она была представлена гуляющей в саду, окруженная троими детьми малолетнего отделения. Портрет нам только один раз показали, хотя следовало бы повесить его в залах и спальнях. Смотря на портрет, мы сожалели, что ни один из нарисованных детей не похож ни на кого из нас.

Вместо М. И. Боньот в малолетнее отделение была назначена m-me Кашинцева, бывшая до того в старших отделениях; она принесла с собой из ротных отделений все наказания и вместе с тем французский язык, бывший общеупотребительным разговорным языком между дамами и воспитанниками; но не принесла главного: той любви и сердечной теплоты к детям, которыми отличалась Марья Ивановна Боньот.

В ротных отделениях, куда перевели меня в марте 1843 года, классная дама уже не была так безотлучно при детях, как в малолетнем отделении, однако и здесь она стояла к ним так близко и была при них так часто, что могла быть в полном смысле слова воспитательницей и руководительницей своих детей.

Рота составляла одну воспитательную единицу, которая разделялась на три отделения. Классная дама

1-го отделения была в то же время старшей дамой. Меня перевели в 3-ю роту во 2-е отделение, где я уже находился до перевода в малолетнее отделение.

Старшей дамой в третьей роте была Елизавета Николаевна Боньот, дочь Марьи Ивановны, старая девица, по характеру своему совершенно непохожая на свою мать. Всякий мелкий проступок выводил ее из себя, она тотчас страшила розгами и наказывала стоять. Особенно плохо приходилось тому мальчику, который постоянно вел себя хорошо; стоило ему попасться в какой-нибудь обыкновенной детской шалости, и Елизавета Николаевна, кроме наказания, донимала такими замечаниями: «Небось тихоня, а сам исподтишка, лукавый мальчишка, в тихом омуте черти водятся» и т. п. Не знаю хорошенько, любили ли Елизавету Николаевну дети ее отделения, но мы, дети других отделений, и боялись, и ненавидели ее. <...>

Во 2-м отделении, куда я поступил, была всего около месяца классная дама Вознесенская, которая переходила тогда в Петербург <...>, и на ее место была к нам определена француженка по происхождению, но уже довольно хорошо говорившая по-русски m-me Кобервейн. Она была лучшей из всех трех дам нашей 3-й роты, хотя нередко выказывала большие несправедливости и довольно щедро рассыпала взыскания, но мы все-таки ее любили больше всех дам. Но особенно мы любили ее дочь Жозефину Осиповну, девушку лет 22-х или 23-х, очень умную, отлично игравшую на рояле и хорошо рисовавшую масляными красками. <...> Мы были настолько к ней привязаны, что, гуляя с ней в парке или разговаривая с ней в квартире, считали себя как бы в отпуску, отрешаясь вполне от казенных отношений к классным дамам и от казенной обстановки заведения. <...>

В заведении существовала также начальница; в чем заключались ее обязанности, я не могу дать себе отчета

даже и теперь; она приходила к нам только во время нашего ужина. До 1844 года была начальницей Крон, а в 1844 году поступила Голубцова. Мы, дети, решили между собой, что начальница нужна была только для того, чтобы был лишний человек, который имел бы право нас сечь. Кажется, мы недалеко были от истины.

Обязанность отделенной дамы состояла в доставлении детям материнского воспитания. С раннего утра она была уже при своих детях, осматривала одежду, заставляла прочесть утреннюю молитву и отправляла их к утреннему чаю. В классах дети находились на руках учителей, но дежурная дама присутствовала в одном из классных отделений (для нее во всех классных отделениях стояло особое кресло). Перед обедом все дамы приходили в залу и шли к обеду вместе со своими воспитанниками. Каждое отделение обедало за особым столом, на конце которого обедала отделенная дама. От обеда до вечерних классов дети оставались в зале на руках дежурных дам, но отделенные дамы брали к себе на это время по несколько человек, часто и все отделение. После классов, получив полдник, дети шли заниматься в квартиры своих дам; по окончании занятий шли вместе с дамами к ужину, после которого шли в спальню, где до сна оставались при своих дамах.

Таким образом, большую часть дня дамы были при своих детях, а через два дня на третий дама, будучи дежурной, была при детях безотлучно.

Если бы дамы имели хотя какое-нибудь педагогическое образование, если бы они хотя задали себе вопрос, для чего и как следует воспитывать, то при почти безотлучном пребывании при детях они могли бы прекрасно исполнять свои воспитательские обязанности. К несчастью, они, не имея никакого понятия о воспитании, часто только портили детей, в чем им помогало остальное начальство заведения.

Все воспитание ограничивалось надзором за порядком и наложением взысканий за нарушение порядка.

Наказания, употреблявшиеся в отделениях, состояли в следующем: ставили на штраф во время рекреации; заставляли стоять во время обеда или ужина; лишали блюда за обедом или ужином; наказывали розгами; писали фамилию на черной доске; отделяли от товарищей; надевали на шею особый *ошейник* (наказание очень редкое).

Три последние взыскания мог налагать только директор корпуса. Ошейник делался из грубого солдатского сукна и надевался на голую шею ребенка. Хороши были педагоги, придумавшие такое позорное и антигигиеническое наказание!

Телесное наказание имели право налагать директор, инспектор классов, начальница и старшая дама в роте. Первые три лица исполняли это наказание при помощи сторожей, а дамы — при помощи нянек. Отделенная дама сама не имела права наказывать телесно, но так как не было примера, чтобы старшая дама отказала в просьбе отделенной дамы высечь мальчика, то это сводилось к тому, что каждая дама могла наказывать телесно, когда ей вздумается. Дамы считали розги ничтожным наказанием, и редкий день обходился без розог, причем секли одновременно нескольких детей за самые ничтожные проступки (так было по крайней мере в 3-й роте).

Для примера приведу следующий случай. Мальчик С. подарил своему товарищу Б. маленькое жестяное блюдечко, привезенное им из дома; последний подарил это блюдечко другому товарищу Ч. У Ч. однажды нашли подушку, вымазанную сажей; при разборе оказалось, что Ч. жарил на свечке ночника картофель, спрятанный им от ужина. Нашли и блюдечко. После разбора высекли Ч. за его вину, Б. и С. за то, что они осмелились дарить

свои вещи; кстати высекли и брата С. за то, что у него нашли три или четыре пуговицы, которыми он играл. <...>

Если дама находила, что частое сечение мало приносит пользы, она обращалась с жалобой к директору Хатову, а этот добрейший старик, признававший единственным спасением детей розги, бывало, каждое утро, перед классами, молча манил к себе одним пальцем и с правой и левой стороны виновных по жалобам дам и, собрав к себе нередко целую шеренгу, отправлял остальных детей в классы, а свою шеренгу вел на расправу. <...>

Поощрительные меры в заведении были приняты следующие:

1. Двух лучших в отделении воспитанников назначали сержантами, обязанность которых состояла в наблюдении за порядком в отсутствие дамы, причем сержант давал отчет даме, кто без нее шалил, и таким образом делался судьей своих товарищей. О педагогичности такой постановки дела никому и в голову не приходило.

2. Одного следующего за сержантами лучшего воспитанника назначали ефрейтором, который должен был приносить перед классами книги своему отделению и отбирать их после класса.

3. Прибавка баллов в поведении.

4. Написание фамилии на красную доску в рекреационной зале, причем требовались и отличные успехи в ученье.

Обо всех этих наградах надо сказать то же, что было сказано о наградах за ученье: они развивали в детях честолюбие и зависть, да, кроме того, в классах хорошие успехи были по крайней мере следствием прилежания и внимания, тогда как хорошее поведение на глазах дамы нередко не было следствием хорошей

нравственности; бывали дети, только казавшиеся хорошими.

Поддерживая хорошее поведение поощрением детей и наказывая за дурное поведение, классные дамы были убеждены, что они добросовестно исполняют все, что от них требовалось, и, спокойно усевшись на дежурстве на стуле, вязали себе чулки, оставляя детей заниматься чем им угодно, лишь бы не было беспорядков. Беспорядки же большей частью являлись в драках между детьми, в драках, которые меня, перешедшего из малолетнего отделения, где их не было, первое время до крайности поражали. Чуть только малейшее несогласие, смотришь: уж один из споривших доказывает свое право кулаком, и пошла потасовка. Но пара глаз дежурного дядьки зорко смотрела за такими поступками, и, схватив виновных за руки, дядька тащил их через залу к классной даме. Последняя, поставив обоих без разговоров стоять, успокаивалась и снова принималась за чулок.

А дети, видя в своих наставницах лишь карателей, никогда не обращались к ним за помощью или советами в своих играх или разговорах; они совершенно удалялись от них и приходили к ним только с жалобой. Отношение детей к даме здесь было совершенно другое, нежели в малолетнем отделении.

Но дети Александровского корпуса умели играть, они не скучали, умея всегда найти себе занятие. Никто не руководил детскими играми, но никто и не мешал им играть, лишь бы они не беспокоили дежурную даму. Кем и когда были внесены в заведение игры: самими ли детьми или кем-либо из воспитывавших, мне неизвестно, но я уже застал самые разнообразные игры и занятия, которые, передаваясь от одних детей другим, поддерживались в заведении постоянно. Сами дети разделяли свои занятия на два рода: на летние и зимние. К первым дети переходили, как только их в

первый раз выводили на плац, а последние разделялись по месяцам.

Как только в апреле выпускали на плац, тотчас являлись бумажные змеи, которые приготавливали дети сами, без всякой посторонней помощи, при этом змеи выходили большие, с разными затеями, запускались нередко так высоко, что огромный змей казался маленькой бумажкой. Необходимые для змея нитки привозили дети из дому, после праздников Пасхи (единственный, впрочем, раз было роздано по мотку на отделение); дранки для змей дети приготавливали сами из щепы старых корзин, а для устройства хвоста и других частей существовали теоретические данные, которыми и поучались поступившие в заведение новички. Несколько позже, в конце мая, когда уже переходили гулять на луг, змеи уже не запускались, оставались другие игры; к ним присоединялось выбивание барабанных боев, для чего нужно было иметь только две палки, а барабан заменяла скамейка.

Любимейшим же занятием детей в летнее время было собирание, кормление и воспитание гусениц, причем наблюдали их превращение. Этим занимались дети все поголовно, собирали на листьях яйца насекомых, выводили из них гусениц, причем каждого рода гусеница имела свое, придуманное детьми название. Перед каникулами и в праздничные дни, а во время каникул ежедневно дамы (не дежурные) ходили со своими отделениями гулять в парк или в окрестности городские, и почти каждый мальчик имел при себе коробочку для насекомых и гусениц; иногда двое или трое собирали гусениц вместе и кормили их. Коробки для гусениц дети клеили сами, выказывая при этом замечательную изобретательность и находчивость: картона не было, склеивали бумагу старых тетрадей лист на лист и получали картон, клей делали из мякиша булки; коробки снабжали сверху стеклами, собирая на

дворе все обломки стекол. Нередко из таких скудных средств выклеивались домики со стеклами и дверьми. <...>

В октябре, когда дети переходили гулять на двор, летние игры прекращались, и вообще зимой на воздухе никаких игр не было, потому что гуляли по мосткам в строю; тогда начинались игры и занятия в зале. До Рождества дети свивали себе из тонких веревок толстую, которую употребляли для прыганья. <...>

Во время Рождественских праздников устраивался в заведении маскарад, на который пять или шесть человек из каждого отделения являлись в костюмах; после маскарада начинался бал, в котором главным образом принимали участие посторонние воспитанники. В малолетнем отделении бывала елка, но игрушек детям не дарили.

От времени до времени заведение посещали члены императорской фамилии. Император Николай Павлович был при мне в корпусе два раза. Помню, как поразил нас, детей, его вид, когда мы увидели его в первый раз. Он пришел в столовую, куда тотчас же собралось все наше начальство, и какими все они показались нам маленькими в сравнении с императором! Мы долго говорили между собой об этом посещении государя и были убеждены, что нет человека выше его ростом.

Михаил Павлович бывал в заведении по два или по три раза в год. Бывало, построит нас в зале и устроит батальонное ученье под бой трех барабанов, потом заставит всех лечь и, лежа, катиться в одну сторону. <...>

18 августа 1846 года нас, в числе 22 кадет, усадили в кареты и повезли в Петербург в кадетские корпуса <...>. С этого дня мы стали кадетами 1-го корпуса. Здесь судьба привела меня пробыть целых десять лет...

Бооль В. Г. Воспоминания педагога // Русская старина. 1904. Т. 117. № 3. С. 615-630; № 4. С. 111-123.

И. И. Ореус

Из воспоминаний

Школа гвардейских

подпрапорщиков и юнкеров. 1845-

1849 годы

...Внутренний и внешний быт воспитанников военно-учебных заведений Николаевского времени много разнился от того, который выработался в последующее царствование, и — как все в мире — представлял дурные и хорошие стороны.<...> Мои воспоминания относятся к Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в период времени с 1845 по 1849 год, когда я имел честь пребывать в стенах этого заведения. <...>

Доступ в школу открыт был одним потомственным дворянам; для приема туда требовалось, чтобы поступающий был не моложе 13 и не старше 15 лет от роду и удовлетворял известным экзаменным условиям. Курс учения продолжался четыре года. Дотянувший, хотя бы и с грехом пополам, до 1-го (старшего) класса и не натворивший каких-нибудь чересчур безобразных шалостей, выпускался в тот или другой гвардейский полк на имеющиеся вакансии, а иногда и сверх вакансий. Понятно, что при этом право выбора предоставлялось сначала лучшим ученикам, выходявшим преимущественно в самые блестящие полки гвардии: Кавалергардский, Конный, Преображенский и т. п. <...>

Легкий способ выхода в гвардию, которая считалась преддверием для карьеры молодого человека, конечно, поощрял отцов и матерей к отдаче сынков в это привилегированное военно-учебное заведение, — если

средства сколько-нибудь позволяли. Плата за воспитание в школе полагалась немалая: в пехоте 400 руб., а в кавалерии — 450; кроме того, при подаче прошения перед приемным экзаменом родители должны были представлять реверс, или свидетельство о том, что имеют достаточные средства для содержания сына в гвардейской пехоте или кавалерии.

Предназначавшиеся к военной службе сыновья военных и гражданских чинов первых трех классов отдаваемы были преимущественно в Пажеский корпус, где воспитание велось на счет казны. Этот корпус был, так сказать, аристократическим военно-учебным заведением. В школу же стекались, главным образом, молодые барчата, отцы которых недалеко ушли по службе, но зато обладали порядочными, а иногда и очень значительными средствами; большая часть подпрапорщиков представляла из себя будущих владельцев поместий во всевозможных губерниях нашего обширного отечества, и многие в этих же поместьях получали свое первоначальное, домашнее воспитание. <...> Я составлял одно из немногих исключений, потому что перед тем обучался в одной из петербургских гимназий и, окончив там 4-й класс, обладал достаточными познаниями для поступления в 4-й же (младший) класс школы. Таковым же исключением был я и в отношении имущественном, так как отец мой никакого недвижимого имущества за собой не имел, а принадлежал к числу честных гражданских тружеников, достигших довольно высоких государственных должностей. <...>

В течение лета 1845 года я освежил кое-как мои гимназические познания и около середины августа явился на приемный экзамен. Всем нам известны эмоции, овладевающие мальчиками во время подобного испытания, а потому распространяться о них нечего; скажу лишь, что экзамен был не из числа особенно

строгих; тем не менее я хотя и не провалился, но попал в самый хвост поступивших. <...>

Первым актом по вступлении в школу был молебен, завершённый проповедью, <...> после сего нас, новичков, повели в камеры^[22] и распределили по ротам и отделениям. Во главе каждого отделения стояли два унтер-офицера: старший и младший (из воспитанников 1-го класса) и ефрейтор (из воспитанников 2-го класса). <...> Старшим чином в роте был фельдфебель, а в эскадроне — вахмистр; в звание это облакались, конечно, первые по наукам и поведению, а если можно — и по фронту, воспитанники. <...>

Первые дни, проведенные в стенах школы, были не из приятных, особенно для меня, еще не проходившего через интернат и не испытывавшего, что значит пробыть всю неделю вне дома и в отдалении от семьи. Одно уже перенесение в совершенно чуждую сферу, непривычный и строго регулированный склад жизни производили удручающее действие. Первая неделя показалась мне бесконечной; но затем все мальчики стали быстро осваиваться с новой обстановкой; началось товарищеское сближение, положившее начало многим дружеским связям, не прекращавшимся и по окончании совместного жительства.

Место начальника школы <...> занимал в то время генерал-майор <Александр Николаевич> Сутгоф. Человек этот был искренне предан делу воспитания; принимал во вверенном ему юношестве горячее участие; внимательно относился как к умственному и нравственному развитию молодежи, так и к материальной ее обстановке.

Ротным командиром был полковник Л., главной специальностью которого было фронтовое искусство в тогдашнем вкусе. Он до тонкости усвоил теорию и практику учебных шагов и многочисленных ружейных

приемов, составлявших необходимую принадлежность военных эзерций 1840-х годов. Отношения полковника Л. к подпрапорщикам были, впрочем, довольно гуманны; человек он был, в сущности, добрый, но до страсти преданный мундирным и амуничным идеям; по субботним вечерам, перед отпуском, он просто терзал нас своим продолжительным и педантичным исследованием: все ли одеты по строгой форме и всё ли надлежащим образом пригнано. Бывало, кавалеристы уже бегом летят с подъезда и уезжают домой, а нас всё осматривают да оглядывают. <...>

Дежурные офицеры в школу набирались почти исключительно из гвардии. Отношения их к нам были вовсе не те, которые потом ввелись в военных гимназиях; научный и вообще педагогический элемент не играл в этих отношениях почти никакой роли. Обязанность этих офицеров состояла преимущественно в наблюдении за внешним порядком во время своего дежурства; кроме того, на ученьях они командовали частями роты и эскадрона <...>. Наши отношения к этим офицерам обуславливались, конечно, личным характером и особенностями каждого из них, которые были нами отлично изучены, — равно как характер и особенности наших преподавателей.

О последних можно заметить, что состав их вообще был очень хорош. Сутгоф не скупился на приобретение для школы лучших или считавшихся лучшими сил из учительского мира и в этом, как и в других отношениях, чрезвычайно дорожил репутацией вверенного ему заведения. Из наиболее выдающихся преподавателей того времени, которых мне пришлось слушать, назову: профессора тактики, Генерального штаба полковника Александра Петровича Карцева (умершего в 1870-х годах в звании начальника Харьковского военного округа); профессора русской словесности Александра Александровича Комарова (друга и приятеля

Белинского); <...> профессора французской словесности Куриана, считавшегося первым в Петербурге <...>.

О питании ума нашего науками приложено было Сутгофом всевозможное попечение; но не менее заботился он и об укреплении наших развивающихся организмов здоровой и сытной пищей, которая в его время в школе была безусловно хороша. Правда, что на нас отпускались порционные деньги в больших размерах, чем в кадетских корпусах, но при отсутствии бдительного надзора и при известных склонностях и аппетитах наших экономов все-таки нельзя было бы ожидать той свежести и того изобилия припасов, какие мы встречали у себя за столом. За каждым обедом Сутгоф почти всегда присутствовал лично; отведывал он пищу не из так называемой пробной порции, представляющей казовый конец обедов и ужинов, но с блюд, подаваемых воспитанникам, и если замечал что-либо неладное, то тут же разносил эконома <...> самым бесцеремонным образом. Обед состоял из супа или щей с пирогами, мясного блюда и какого-нибудь пирожного; за ужином подавалось два кушанья. <...>

Распределение дня в школе было следующее: утром, в 6 часов, звук барабана или трубы возвещал нам, что пора вставать. Старшие классы еще потягивались с четверть часа на своих койках; но младшие должны были вставать немедленно; в противном случае рука дежурного унтер-офицера или ефрейтора стаскивала с ленивца одеяло, а иногда он, за несвоевременную сонливость, подвергался лишению чая или обеда. Вставшие отправлялись в умывальню, которая устроена была у нас отличным и даже щеголеватым образом; освежившись там и окончив остальной свой туалет, воспитанники по команде дежурного офицера строились в камерах на молитву, а потом, в строю же, шли вниз, в столовую, где получали

по стакану чая (при желании, с молоком) и по булке; после чаю отправлялись в классы для занятия приготовлением уроков, до 9 часов. В 9 часов приходили учителя. На каждую лекцию полагалось по полтора часа: две были до обеда и две — после обеда; между каждой давалось по 5 минут рекреации. Во время первой, утренней рекреации нам приносили завтрак, состоявший из соленой булки, впоследствии замененной пирогом с говядиной или капустой. После утренних классов начинались фронтовые занятия или фехтования, продолжавшиеся до половины второго; затем мы переодевались в новые куртки, строились во фронт, и дежурный офицер вел нас обедать. После обеда полагался отдых до трех часов, когда начинались вечерние классы, продолжавшиеся до 6; по окончании их пили чай, а затем до 8 часов всякий делал, что вздумается: занимались чтением, разговорами, танцами, музыкой и т. п. В 8 часов все обязаны были усаживаться около своих коек для приготовления уроков на следующий день; причем всякие разговоры и шум строго воспрещались. В 9 часов занятия оканчивались, нас вели к ужину, а в 10 полагалось ложиться спать и лампы в камерах тушились, заменяясь тусклыми ночниками; желающим не воспрещалось, однако, заниматься и после этого, но при собственной свечке.

Внутренняя жизнь школы, организованная по общему для тогдашних военно-учебных заведений шаблону, нарушалась в своем обычном течении устройством домашних спектаклей. Было у нас несколько человек завязанных театралов, стремившихся испытать свои силы в сценическом искусстве; некоторые из них состояли в числе «любимчиков» Сутгофа; им удалось исходатайствовать у него разрешение этих спектаклей, которые в школе являлись небывалою новинкой. Общей складчиной воспитанников

собраны были деньги на устройство сцены, кулис и проч.; подмости соорудили в эскадронной учебной зале; в режиссеры приглашен был один из актеров Александринского театра (не помню, кто), и в одну зиму дано было несколько спектаклей, на которые приглашались также родственники и знакомые наши. <...> Женские роли, конечно, возлагались на самых красивых мальчиков, из которых один (юнкер Л., из казаков) производил даже положительный фурор своей наружностью. Вообще, роли исполнялись довольно удовлетворительно и наши доморощенные артисты приветствуемы были восторженными рукоплесканиями. Вскоре, однако, обнаружилось, что участвующие в театральных представлениях под предлогом репетиций и всяких приготовлений забывали об уроках; а потому удовольствие это было начальством прекращено и, сколько мне известно, потом уже не возобновлялось. <...>

Совершенного отделения старших возрастов от младших тогда еще не существовало, и это совместное жительство влекло за собою немало дурных последствий; 14-15-летним мальчикам непременно хотелось делать то же, что делали юноши, достигшие полного физического развития; увлекаемые их примером, жадно прислушиваясь к их соблазнительным рассказам, мальчики эти начинали слишком рано предаваться всевозможным, преимущественно запрещенным удовольствиям, в ущерб здоровью и нравственной чистоте. <...>

Дисциплина в стенах школы поддерживалась довольно строгая; только с переходом во 2-й класс воспитанники начинали несколько эмансипироваться, особенно если этот класс сознавал себя, в массе, сильнее 1-го и способным, в случае надобности, отстаивать свои права и кулаками. Зато настоящими

souffre-douler^[23] являлись новички, во весь первый год их пребывания в школе. Конечно, уже в силу воинской дисциплины рядовые подпрапорщики и юнкера подчинены были фельдфебелю, вахмистру и унтер-офицерам (хотя для одноклассников подчинение это было лишь номинальным), но эти дисциплинарные понятия входили и в отношения старших классов к младшим. С переходом в 3-й класс воспитанник начинал себе позволять мелкие приставания к новичкам, особенно безответным; во 2-м классе он принимал относительно их уже несколько начальнический тон; а в 1-м классе, где никакой авторитет старшинства его более не сдерживал, он становился уже решительным деспотом вновь поступающих.

Замечу, впрочем, что подобное обращение с новичками (конечно, с разнообразными оттенками) было обще всем тогдашним военно-учебным заведениям; хуже всего приходилось новобранцам в Артиллерийском училище, где с ними проделывали всевозможные варварские эксперименты. Школа пользовалась в этом отношении тоже незавидной славой; но я должен сказать, что многое преувеличивали и что во время начальствования Сутгофа нравы воспитанников этого заведения значительно смягчались.

При всем том новичок (если только ему не покровительствовал кто-либо из влиятельных первоклассников) подвергался разным, более или менее неприятным и оскорбительным проделкам и должен был играть роль прислужника старших воспитанников; на него, за малейшую неисправность, особенно же за неповиновение, сыпались колотушки, наказания «без обеда», «без чаю» и т. п. Если он имел несчастье почему-либо показаться смешным, то его исшучивали

разными манерами и заставляли, по известному рецепту, потешать публику.

Так, например, поступивший в школу в один год вместе со мною юнкер П. — малый уже взрослый, широкоплечий и говоривший жирным баском — должен был по первому востребованию мычать наподобие молодого быка; юнкер Н. (тоже взрослый), представлявший собою тип неуклюжего увальня, обязан был изображать ловкого застрельщика, пользующегося местными закрытиями, и для сего подлезать под столы, кровати и табуреты, показывая вид, будто оттуда стреляет; юнкера Г. прикомандировал к себе в качестве «ординарца» воспитанник старшего класса З. (один из верзил-силачей), и по его зову злополучный, чахлый Г. должен был подскакивать к нему не иначе как галопом.

Бывали шутки и более жестокого свойства. Вообще же новички находились у старших классов на всевозможных посылках; должны были дежурить у двери отхожих мест в то время, как старшие там курили, пуская дым в камин, и предупреждать их о приближении начальства и т. п. Плохо приходилось новичку, рисковавшему противиться этим требованиям, особенно же обращавшемуся с жалобой к начальникам. Последний шаг даже одноклассные товарищи его не одобряли, так как *фискальство* считалось позорнейшим делом и ничем не могло быть оправдываемо <...>.

При моем поступлении в роту подпрапорщиков оказалось, к счастью, что воспитанники старшего ее класса, пользовавшиеся наибольшим влиянием на своих товарищей, были юноши вполне порядочные, с добрыми сердечными качествами, да к тому же обладавшие авторитетом немалой физической силы; так что приставаний, имевших жестокий характер, в пехоте почти совсем не было. Кавалерийским товарищам нашим не так посчастливилось, потому что между старшими воспитанниками эскадрона большую роль

играли дюжие варлаганы, слабо развитые умственно и нравственно, но зато обладавшие здоровенными кулаками, которые и пускаемы были в ход весьма нередко.

Насилия над новичками часто смешивались с понятиями о поддержании дисциплины, а потому совершенно искоренить их не было почти никакой возможности; но на значительное ослабление этого безобразия в школе повлиял опять-таки Сутгоф, строго преследовавший кулачную расправу и всячески старавшийся облагородить взаимные отношения вверенных ему молодых людей.

Взыскания, налагавшиеся на нас начальством за разные проступки и за леность, состояли в лишении чая, обеда или ужина, в оставлении без отпуска на праздничные дни и в содержании под арестом в темном карцере, на хлебе и воде, в течение 1-3 суток (чем, между прочим, наказывалось и курение табаку, строго тогда воспрещенное в учебных заведениях). К телесному наказанию розгами прибегали в школе лишь в самых исключительных случаях за проступки позорные; оно обыкновенно предшествовало исключению воспитанника. <...> К тому же оно совершалось не публично, а келейно, в бане, и прочие воспитанники узнавали о сем лишь случайно.

Вне стен школы времяпрепровождение юнкеров и подпрапорщиков обуславливалось, конечно, тем, в какой семье они жили, в каком обществе вращались и какими каждый из них мог располагать денежными средствами. Последнее обстоятельство способствовало тому, что в кавалерии было более кутежа, чем в пехоте. <...>

Вход в рестораны, кофейни и т. п. благородные кабачки был нам воспрещен, но запрет этот легко обходился благодаря тому, что в большинстве сих заведений существовали отдельные ходы, ведущие в

особые кабинеты, куда мы и пробирались совершенно свободно. <...> Впрочем, так как их посещали преимущественно днем, то и кутеж там шел более сдержанный; вечерние же собрания обыкновенно происходили у которого-либо из товарищей, проживавшего на квартире холостого брата или при родственниках, слишком снисходительно относившихся к проказам молодежи; иногда же просто в импровизированном помещении, временно нанятом самими юнкерами. Тут мы бесились, кто во что горазд, и старались отличиться друг перед другом в жертвоприношениях Бахусу. Ужин завершался иногда варением жженки, причем сахар растапливался не иначе как на скрещенных над кастрюлей саблях: того уж гусарские предания требовали!

Подгуляв как следует, расходившиеся юноши нередко отправлялись доканчивать ночь в другие веселые места. К числу подобных веселых мест принадлежали и так называемые танцклассы, где собиралось общество обоего пола для упражнений в хореографическом искусстве. Что уже это было за общество — можно себе легко представить! Наша военная молодежь наезжала туда не столько для забавы, сколько для скандала, и одно из главнейших ее наслаждений состояло в том, чтобы затеять побоище с мирными гражданами и изгнать их из танцевальной залы <...>.

Что касается соблюдения правил воинского чинопочитания, выражаемого в отдавании чести встречающимся офицерам, то никто не был исправнее подпрапорщиков и юнкеров. К этому отчасти подстрекало нас желание отличиться от воспитанников кадетских корпусов, которые отдавали честь довольно небрежно. Так как мы почитали себя выше кадет, то походить на них в чем бы то ни было считалось у нас признаком дурного тона.

Для телесного упражнения учеников в школе не доставало главного — гимнастики, хотя таковая существовала во всех прочих военно-учебных заведениях. <...> Физику нашу развивали преимущественно одиночным ученьем со всеми тонкостями тогдашнего рекрутского устава. Свежо предание, но верится с трудом, через какие мудреные штуки проводили тогда новобранца, чтобы сделать из него настоящего солдата. В школу для обучения воспитанников фронту прикомандированы были унтер-офицеры разных гвардейских полков, поглотившие премудрость «одиночки» и долженствовавшие посвящать нас во все ее таинства. Начинали с обучения стойке, поворотам и полуоборотам, и когда новичок достигал в этом надлежащей степени совершенства, тогда приступали к маршировке. Маршировали тихим, скорым, вольным и беглым шагами; но и к этому приступали не вдруг, а начинали с так называемых учебных шагов, которых было три: в три приема, в два приема и в один прием. Этим учебным шагам (при которых требовалось вытягивание носка по возможности на одну линию с верхней частью ноги) придавалось очень важное значение.

Когда новичок оказывался достаточно преуспевшим в одиночной выправке, ему нашивали погончики на куртку и давали в руки ружье. <...> Мы не скоро привыкали с ним справляться, благодаря существовавшему тогда нелепому правилу держать ружье в левой руке, под приклад, причем требовалась совершенная вертикальность его положения. С непривычки всех нас кренило на левый бок, и все мы сначала изображали под ружьем весьма карикатурный вид, особенно во время маршировки шагом «Журавлиным» (то есть тихим).

Когда новичок приучался держать ружье, тогда приступали к обучению его ружейным приемам, коих

было великое множество. Тут тоже соблюдалась известная постепенность: начинали с отдавания чести (на кра-ул!), а кончали примерным заряданием. Последний прием был особенно интересен: он разделялся ни более ни менее как на *двенадцать* так называемых темпов^[24], и хотя в настоящем деле, конечно, никогда не употреблялся, но должен был приучать солдата к последовательности в порядке зарядания ружья, которое тогда было еще кремневым. Кажется, на второй или третий год моего пребывания в школе нам дали ружья пистонные, и тогда число темпов значительно сократилось.

Соответственно успехам, оказываемым по фронту, воспитанники у нас делились на три разряда: каждый разряд обучался отдельно^[25], а один раз в неделю, по субботам, все разряды сводились для общего ученья, составлявшего специальность нашего ротного командира, полковника Л., который постиг все тонкости стойки, маршировки и ружейных приемов. От времени до времени, когда изобретался новый фортель по фронтовой части, приглашался на эти ученья какой-нибудь «артист» из кадровых офицеров тогдашнего Образцового полка (служившего рассадником учителей для всей армии), и тот показывал нам уже такие фокусы, что мы только диву давались.

Охотников до этой фронтовой эквилибристики между нами являлось немного; мы, хотя и были очень юны, однако сознавали ее бесполезность для настоящего дела; но в те времена военному человеку без нее нельзя было и шагу ступить; весь служебный успех на этом зачастую основывался. <...>

Так как в описываемое мною время воспитанников военно-учебных заведений считали нужным приучать, с самого раннего возраста, к солдатскому быту, то все эти заведения, находившиеся в столице, к весне

сводились в батальоны и полки, принимали участие в смотре на Марсовом поле (так называемом майском параде) и потом выводились в лагерь, расположенный около Петергофа. <...>

Выступали мы в лагерь обыкновенно уже под вечер, так как переход в Петергоф совершался с ночлегом. <...> Не знаю, где останавливались другие корпуса; школа же ночевала в деревне Ижорке, близ Стрельны. О ночлеге этом, воспетом еще Лермонтовым (в его нецензурной поэме «Уланша»)^[26], мы, новички, слышали уже много рассказов от своих старших товарищей и, конечно, сгорали желанием вкусить всех прелестей разыгрывавшейся там ночной оргии.

По приходе в деревню нас размещали по избам, назначенным высылавшимися вперед квартиргерами; в каждой избе помещалось по отделению. Нас встречал уже накрытый стол с казенным ужином; но до этого ужина почти никто не дотрагивался. Начальник школы и ротный командир обходили все избы и, конечно, находили все в большом порядке и благочинии; но по удалении их декорация переменялась; казенные яства исчезали со стола и поступали в распоряжение прислуги, а на место их являлись разные закуски и целая батарея вин, которые предварительно закупались отделенным унтер-офицером на общую складчину. Тут начиналась безобразная попойка, приправленная циническими песнями, анекдотами и т. п. Мне было при первом походе в лагерь всего 15 лет; пить я, конечно, не имел никакой привычки и потому скоро совсем охмелел и уснул, подобно многим другим товарищам, тут же, в избе, на постланной на полу соломе. Что происходило после того, я не знаю, но думаю, что взрослые юноши не ограничивались одною попойкой, а завершали ночь и другими увеселениями в таком же вкусе.

На другое утро вся эта молодежь просыпалась (если спала) в том милом состоянии, которое у немцев называется, неизвестно почему, Katzenjammer^[27]; я, по крайней мере, чувствовал себя совершенно расстроенным и пришел в нормальное положение лишь после купанья в море, которое от Ижорки, к счастью, было всего в нескольких шагах.

Наш класс был последним, принимавшим участие в вышеописанном кутеже. Между многими благими нововведениями Сутгоф решил положить предел и тем безобразиям, которые творились во время ночлега в Ижорке. На следующий год нас, к общему нашему огорчению, уже не оставили по избам без всякого надзора, но поместили всех в манеже Конной артиллерии, находящейся в Стрельне, и оттуда, без разрешения дежурного офицера, никто не выпускался. <...>

Лагерь отряда военно-учебных заведений был расположен недалеко от Большого дворца, между Новым и Старым Петергофом, примыкая левым флангом к Английскому парку; устроен он был по всем правилам лагерного устава, с той лишь разницей, что воспитанники помещались не в обыкновенных палатках, но в обширных шатрах, из которых каждый мог вместить в себе более 50 человек. У внешних стен шатров расставлены были двойные кровати, разгороженные вдоль высокой доской; на каждой кровати спало по два воспитанника; подстилкой нам служили мешки, набитые соломой, а изголовьем такие же подушки; на спинках кроватей развешивалась амуниция, а у столбов, поддерживавших шатер, устроены были стойки для ружей. За шатрами, расположенными в два ряда, находились офицерские палатки; потом шли столовые под навесами, затем — кухни, конюшни, помещения для прислуги и т. д. Все

это обнесено было дерновой межей, так называемой линейкой, которая изображала границу лагеря и переход за которую без разрешения начальства был строго воспрещен. <...>

Обыкновенный лагерный день распределялся следующим порядком: утром, после чая, нас выводили на ученье, производившееся или в каждом заведении отдельно, на переднем (малом) плацу, или же побатальонно, по полкам и всем отрядом, на заднем плацу. По окончании ученья мы отдыхали или же, в жаркое время, ходили командами, под надзором офицеров, купаться. Для этого отведено было нам место у паровой пристани, находившейся тогда близ конца Большого канала, ведущего от дворца к морю. Купанье было одним из любимых наших удовольствий и, конечно, сопровождалось разными шалостями. После обеда начинались опять разного рода фронтовые занятия, продолжавшиеся до чая. Между чаем и ужином мы, что называется, били баклуши: слонялись по лагерю, играли в разные игры, иногда ходили слушать пение воспитанников Инженерного училища, у которых как-то не переводился очень хороший хор. Незаметным образом спускался вечер на землю; барабанный бой призывал нас к ужину; а после ужина, в 9 часов, по сигнальному выстрелу из пушки, по всему лагерю начинали бить зарю, прочитывалась молитва Господня и вся молодежь расходилась по шатрам спать.

Через несколько времени по приходе в лагерь воспитанников старших классов, разделенных на партии человек в пять-шесть, отправляли на топографическую съемку в окрестностях Петергофа. Надо правду сказать, что занятие это в школе шло тогда крайне плохо; обыкновенно в каждой партии один воспитанник — из наиболее преуспевших в математике и черчении — назначался старшим, и ему приходилось у нас работать за всех; остальные же члены съемочной

партии чаще всего слонялись без дела, исполняя только самые механические обязанности, вроде постановки вех и реек <...> и т. п.; сделав это, они растягивались где-нибудь в прохладе, курили или ели ягоды, покупаемые у прохожих баб и мальчишек, а о съемке помышляли весьма мало. Наблюдать за нами было очень трудно, так как партии были разбросаны, а руководителей съемочными работами было мало. Иногда, впрочем, на лентяев, беспечно наслаждавшихся своим *dolce far niente*^[28], внезапно налетало начальство и раздражалось грозой; но это случалось довольно редко, и мы продолжали относиться к топографическим работам с полным пренебрежением, вследствие чего, по выходе из школы, имели о съемке лишь самые смутные понятия. <...>

Одним из развлечений во время лагерной стоянки служили тревоги, производившиеся два-три раза в лето, всегда самым государем. Суета и беготня, называемые тревогой, нам очень нравились, и по возвращении в лагерь долго еще слышались рассказы о том, кто где услышал бой барана, куда побежал, какое заведение раньше всех собралось и т. п. Обыкновенно тревоги эти заканчивались коротким ученьем и церемониальным маршем; но однажды государь < Николай Павлович > вывел нас за город и всю ночь продержал на биваках, с соблюдением всех правил полевой сторожевой службы. Подобные события, выходявшие из повседневной колеи, нас до крайности занимали.

Так как в систему тогдашнего кадетского воспитания входило ознакомление с самого раннего возраста со всеми атрибутами военной жизни, то под конец лагеря нас выводили на двухсторонние маневры в окрестностях Петергофа, обыкновенно продолжавшиеся один день. Маневры эти производились всегда в присутствии самого императора

Николая и великого князя Михаила Павловича. Так как ружья у нас были полуигрушечные, то стрельбу мы производили лишь примерную; только одна батарея Артиллерийского училища стреляла на самом деле <...>.

Возвращались мы из лагеря обыкновенно в начале августа; причем во время похода производился иногда односторонний маневр против предполагаемого неприятеля.

По приходе в школу нас распускали по домам, недели на две; а выпускные немедленно облекались в офицерские мундиры своих полков и разлетались во все стороны праздновать и вспрыскивать первые эполеты.

Класс, в котором я находился, заканчивал школьный курс наук весной 1849 года. <...> В последний раз собралась наша школьная компания на классическом прощальном ужине <...> и здесь отпраздновала свое производство обильными возлияниями Бахусу, под звуки известной песни тогдашних выпускных кадет:

Прощайте вы, учителя,
Предметы общей нашей скуки!..

Песня эта пелась на мотив похоронного марша, и тут действительно хоронили мы нашу детски беззаботную жизнь, вступали на новое, самостоятельное поприще, где уже каждый должен сам пещись о себе и сам отвечать за себя...

Ореус И. И. Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в воспоминаниях одного из ее воспитанников // Русская старина. 1884. Т. 41. Кн. 1. С. 203-216; № 2. С. 441-454.

Н. А. Крылов

Кадеты сороковых годов

Первый Санкт-Петербургский кадетский корпус. 1840-е годы

...До 11 лет я рос в деревне, среди множества дворовых мальчишек, на полной воле. Постоянно борьба, бабки, кулачки, купанье, беганье и вообще развитие той физической силы, для которой теперь придумываются целые системы.

В 1841 году мать моя привезла меня в Петербург, где меня с помощью большой протекции зачислили экстренным кандидатом в 1-й кадетский корпус. В этот корпус принимали только потомственных дворян, родители которых не ниже полковничьего чина.

В корпус меня отвез мой дядя, генерал < Владимир Иванович> Панаев. Он представил меня в неранжированную роту к капитану Михаэлю, который его расспрашивал, под чьим я руководством воспитывался дома, под женским или под мужским.

«Это для того, — пояснял Михаэль, — чтобы знать, обращаться ли с ним мягко, по-женски, или быть иногда суровым и требовательным».

Дядя когда-то сам был кадет, понимал, что если в роте 200 шалунов, то нельзя различать, с которыми обращаться по-женски и с которыми — по-мужски. Видел только, что Михаэль желает втирать очки как родителям, так и своему начальству.

В Петербурге некоторое время мне пришлось жить у моих бабушек Воиновых, бывших фрейлин двора Екатерины II. По праздникам к бабушкам приходили их родственники кадеты, которые и подготавливали меня в корпус. Они мне говорили, что сначала ко мне, как к

новичку, будут приставать и бить меня, но чтобы я отнюдь не жаловался, а всегда сам расправлялся: «Прямо в нос кулаком, чтобы кровь пошла!»

Учили меня и тому, что если кто передо мной нашалит что-нибудь и меня начальник будет спрашивать, кто это сделал, то говорить: «Не знаю». Если будут сечь или морить голодом, то все-таки никогда «не выдавай товарища». Крепко засели мне эти уроки в памяти, и я поступил в корпус с хорошей подготовкой.

Неранжированная рота была переполнена, все кровати были заняты, и поэтому меня поместили в отдельной комнате вместе с черкесами, которых было человек двадцать в лезгинских и черкесских нарядах. Кровать мне отвели рядом с сыном Шамиля, знаменитого имама и воителя на Кавказе. Шамиль был переведен в 1-й кадетский корпус из Александровского малолетнего корпуса, который помещался в Царском Селе. В малолетнем корпусе он пробыл более года, научился говорить по-русски и усвоил кадетскую жизнь: лгать начальству, заступаться за товарищей и своих не выдавать. Словом, был он кадетом обстрелянным и взял меня под свое покровительство. Он обладал силой и кошачьей ловкостью, обижать меня не давал и очень быстро спроваживал тех озорников, которые намерены были приставать ко мне, как к новичку. Дрался он отлично и руками, и ногами; а когда его одолевали, то другие черкесы охотно за него заступались. <...>

Хотя игра и возня достаточно удовлетворяли накопленную энергию, но мне все-таки хотелось показать, что я не сплошаю и на деле, если ко мне кто-нибудь будет приставать. Присмотра за нашей комнатой почти не было; унтер-офицеры к нам назначались из старших рот, где они и проводили свое свободное время, а дежурный офицер редко заглядывал к нам. Удобств обижать новичка было

много, но все-таки ко мне не приставали, так что мне это стало надоедать.

Раз проходит близко возле меня какой-то кадетик, я его толкнул локтем, он обернулся и назвал меня *галанцем* — так называли тех новичков, которые еще не успели надеть кадетскую курточку и ходили в своем платье. За слово «галанец» я его — по носу! Кровь пошла, и он побежал жаловаться дежурному офицеру. Подошел ко мне дежурный, я испугался, не знал, что говорить, но выручил Шамиль, он сказал дежурному, что Молчанов меня бил и щипал, а я нечаянно толкнул его в нос. Молчанова выпороли, а мне сказали, чтобы я сам не расправлялся, а если кто будет меня обижать, то чтобы я жаловался.

Молчанов не только не имел на меня никакой злобы, но еще сказал мне спасибо за то, что я его произвел в «ефрейторы». Оказалось, что в неранжированной роте не считался тот кадетом, которого ни разу не высекли. Первая порка производила в «кадеты», вторая — в «ефрейторы», третья — в «унтер-офицеры» и т. д., возвышаясь в чинах; иные в год и в два, не имея 12 лет от роду, доходили до «фельдмаршала», то есть были 18 раз высечены <...>. Это производство особенно продвигалось у тех кадет, которых приводили в корпус из провинций, оставляли на полное попечение начальства и у которых никого в Петербурге не было, и они не ходили «со двора», как у нас называли отпуска домой.

Разумеется, были и такие, которых никогда не секли: одних потому, что они учились и вели себя безукоризненно, другие были скрытны и осторожны, а третьи до такой степени хитры, ласковы и выдержанны, что на них не поднималась рука даже у Михаэля. <...>

Всем кадетам запрещено было держать деньги при себе; они должны были держать деньги у ротного командира Михаэля. Если кому-нибудь хотелось купить

лакомство или перочинный ножик, карандаш, бумагу и другие дозволенные предметы, то Михаэль покупал всегда сам и всегда за двойную цену. <...> Понятно, что ни сами кадеты, ни их родственники протестовать не смели; а некоторые богатые родители нарочно давали деньги Михаэлю для своих сыновей, чтобы он с ними не был жесток, и эти подачки действовали настолько явно, что мальчуганы в 10-12 лет постоянно хохотали над своим ротным, называя его «жидом».

Другой доход от кадет-новичков было их партикулярное платье, обувь и белье, эти предметы не возвращались, если новичка оденут во все казенное. Ежегодно поступало в неранжированную роту более сотни новичков; каждого из дома старались отпустить во всем новеньком и лучшем, и все это оставалось у Михаэля. Казенное платье надевалось в отпуск тогда, когда новичок научится делать фронт перед офицерами. Этому новичков учили тотчас же по вступлении в корпус.

Замечательно, что начальство сороковых годов смотрело на Михаэля как на примерного воспитателя, а офицеры старших рот при откровенных разговорах с взрослыми кадетами относились к Михаэлю с отвращением. <...> Но показная сторона неранжированной роты была образцовая; кадеты маршировали и равнялись так, что не уступали Преображенскому полку. Но зато с какой радостью каждый переходил в строевые роты, чтобы больше не видеть Михаэля и всех дел его! <...>

Во 2-й роте кадеты не говорили, что они попали из огня в полымя, а говорили, что они попали от лисицы к волку. Аргамаков был молодчина собой, но грубый <...>, злой, мстительный и жестокий. Казалось, что он наслаждался, когда кровь брызжет из-под розог. Во 2-й роте кадеты были в возрасте от 11 до 13 лет, и им запрещено было давать более 25 розог. Но эта четверть

сотни под руководством ротного командира Аргамакова равнялась плетям и кнуту при торговых казнях уголовных преступников.

Первая экзекуция, в которой мы познакомились с его манерой сечь, производилась над кадетом Барановым за то, что он нагрубил учителю рисования Зайцеву. Грубость состояла в том, что он на какое-то замечание Зайцева сказал: «Ах, чтобы эти модели сгорели!» Надо сказать, что тогда рисование с картонных моделей только что вводилось; Зайцев был сторонником рисования с натуры, и эта фраза его огорчила так, что Баранова пришлось наказать публично перед классом.

Экзекуция была назначена в такой-то день, в час рисования, чтобы вполне удовлетворить учителя Зайцева. Наш класс не только что успел сговориться, как каждому действовать, но мы имели время даже и прорепетировать всю эту комедию. Первые ряды должны были стоять и только всхлипывать, как бы удерживая слезы; сзади должны были все плакать, а в середине класса кадет Суслов должен был упасть в обморок после десятого удара. Если это порку не остановит, то после следующих пяти ударов в обморок должен был упасть кадет Нудольский, отъявленный шалун, которого секли каждую неделю.

Зайцев явился в класс, и этот добрый человек считал себя виноватым перед Барановым, так что мы Зайцева утешали, что это ничего не значит. Вошел Аргамаков, внесли скамейку и розги; вызвали Баранова: «Ложись!» В то время, когда Баранов раздевался, Зайцев подошел просить за него, на что Аргамаков грубо ответил, что он нарушил дисциплину и тут не может быть никакого снисхождения.

Баранов лег. Аргамаков приказывает солдатам: «Пореже! Покрепче, кончиками да по ляжечкам!» Пучки свистнули, кровь брызнула... Мы по уговору стали

всхлипывать, а сзади плакать... «Стой! — скомандовал Аргаматов солдатам. — Смирно! Это что за слезы? Всех перепорю! Валяй!.. Крепче! Крепче! Реже!.. Стой. Там опять кто-то хнычет? Молчать! Смирно!» Водворилась тишина. «Бей!..»

Суслов почему-то в обморок не упал, а Нудольский так дурно симулировал обморок, что его тут же выдрали. Баранов из молодечества не кричал и не пикнул, как будто не его секли. За это молодечество ему сбавили 2 балла из поведения. <...>

В 1-й роте был отделенный офицер Крылов, который и прежде с кадетами обращался, как с кантонистами, а тут уже превзошел все меры. Он носил кличку «свирепый», и в виде предупреждения ему часто кричали это слово, но его придирки и грубость не унимались. Раз осенью он был дежурный по роте и в то время, когда кадеты ложились спать, он кого-то из кадет громко обозвал дураком и кантонистом. Это взорвало всю роту, и со всех сторон к нему в ответ полетело: «Сам ты дурак! Свирепый! Вон из корпуса!» — и другие возгласы. Начали стучать табуретами, стучать по столам, и брань к нему летела очень дружно со всех сторон. На его команду: «Смир-но!» — отвечали хохотом и свистом. Словом, бунт был в полном разгаре.

Он послал за дежурным по корпусу капитаном Иксулем; его кадеты любили, и при нем все утихло. По Петербургу разнесся слух, что в 1-м кадетском корпусе бунт, что в одного офицера бросали табуретками, проломили голову, сломали руки и другие сплетни. Как доложили государю Николаю Павловичу, мы не знали, но только со всей роты сняли погоны, запретили пускать в отпуск и принимать родных. <...> Через месяц приехал государь, обошел гренадерскую роту, подошел к дверям 1-й роты, повернул от нее и сказал: «Это большая лужа, ее обойти нужно!» — и так как ему все ходы и галереи корпуса были хорошо знакомы, то он

и прошел прямо в 3-ю роту. Порядком в корпусе остался доволен, распустил всех со двора <в отпуск>, кроме 1-й роты, а через неделю пришло прощение и 1-й роте, которой возвратили погоны.

Чтобы не давать кадетам поблажки, все осталось как бы по-старому, но по всему видно было, что офицерам было внушено смягчить свой нрав, и они стали вежливее. Затем стали время от времени обновлять начальство. <...>

Старый кадетский дух в строевых ротах главным образом поддерживался смешением всех возрастов в младших классах. Неспособные к наукам, но прекрасные фронтовики держались в корпусе, чтобы украшать фланги и первую шеренгу. Двадцатилетние молодцы в классах рядом сидели с двенадцатилетними кадетами, зубрили ту же таблицу умножения и внушали ухарство, молодечество и правило: «Один за всех, и все за одного».

Начальство не умело различать резвость от шалости, а шалость от проступков и пороков. Бегать, играть, резвиться — значит шалить, а за шалость надо сечь, и секли. Между дежурными офицерами, то есть воспитателями, находились и умные головы, но тон всему давал батальонный командир, полковник Вишняков. При нем директор генерал <Павел Петрович> Годейн не значил ничего, и кадеты про него рассказывали только анекдоты, которые характеризовали его рассеянность.

Например, дежурный ему докладывает: «Такой-то кадет умер».

«А! Под арест, под арест его!»

«Он умер, ваше превосходительство!» — более внушительно докладывает дежурный.

«Ну так высечь, высечь!»

«Не прикажете ли похоронить? Он скончался».

«А! Похоронить, похоронить!» <...>

Раз Годейн жестоко обманулся. Был весь кадетский отряд в Ропше^[29], куда привели кадет для парада и освящения знамен. Биваки были расположены в густом дворцовом парке; горели костры, дождь пронизывал до костей, ночь была темная, никто не спал. Кто-то из юнкеров Артиллерийского училища, подражая голосу государя, стал произносить команды: «По первому взводу! Справа в колонну стройся!» Голос артиллериста раздавался на весь парк, и выходило очень похоже на команду государя.

Вдруг из темноты парка раздается голос Николая Павловича: «А кто это меня там передразнивает? Поди сюда!»

Все переполошилось; Годейн побежал на голос, чтобы показаться государю. В это время с другой стороны тот же голос: «Поди сюда, не бойся! Ты передразниваешь хорошо! Поди сюда!»

Годейн бросился в другую сторону; но голос государя раздается уже с третьей стороны. Оказалось, что это кадет Первого корпуса Покатилов взбудоражил весь отряд. Начальство, разумеется, не узнало имени кадета, который перебегал с места на место и великолепно подражал государю.

Все озорство кадет старого закала происходило в этом роде. Среди товарищей не поощрялось ни пьянство, ни карты; но грубость за грубость и дерзость за дерзость офицера считались молодечеством. Большинство дежурных офицеров действительно было никуда не годно; но и при этом кадеты все-таки на них не жаловались, а когда офицер напьется пьян, так старались скрыть его от начальства. Так, помню, поручик Чернов где-то лишнее хлебнул, на походе его разобрало, ноги стали переплетаться, качался из стороны в сторону и вообще шел, как сапожник. Но как только начальство подходило близко, то кадеты

инстинктивно смыкались возле Чернова и окружали его таким тесным кольцом, что начальство не могло заметить пьяного. <...> Станным кажется, что при той заботе о войсках, на которых основывали все величие России, для подготовки офицеров в эти войска выбирали таких тупых воспитателей, что память воспроизводит только уродство. Из тридцати начальников 1-го корпуса хорошее впечатление на всю жизнь оставили пять-шесть человек, не больше.

Совершенно иное впечатление оставили учителя. Их у нас было шестьдесят человек, и из этого числа бесполезных и вредных не насчитывается и десятка. Да и этот десяток относится к французам-барабанщикам и к немцам-колбасникам, как кадеты их называли. <...> Они так учили, что под их руководством забывали языки и те кадеты, которые говорили на иностранных языках дома, до поступления в корпус.

Из русских учителей остались в памяти:<...> физик Чарухин, редкостный преподаватель по умению вести дело и по любви к своему предмету; историк Макен, который кроме официальной истории о Французской революции умел дать кадетам понятие и о пользе революции для блага народов. Если принять во внимание, что это было во времена наистрожайшей цензуры 1849-1850-х годов, то невольно проникаешься уважением к этому учителю, который рисковал своей карьерой, но не решался врать и морочить юношей, вверенных ему для познания истины. Из математиков были Герман, Кирпичев и Паукер, впоследствии министр путей сообщения. Первые двое были полезные учителя, а Паукер хотя и знаменитый математик, но не мог догадаться, что надо учить так, чтобы его класс понимал. <...>

Ну, чтобы не отвлекаться в сторону, направляюсь опять к кадетской жизни. Вся мудрость кадета в классах сосредотачивалась на том, чтобы познать

слабую сторону учителей. Тут товарищество и круговая порука работали вовсю; каждый старался оттянуть от учителя время для того, чтобы он меньше прошел или чтобы меньшее число кадет спросил. Чихнет учитель — тотчас начинает весь класс шаркать ногами и самым вежливым образом желать учителю здоровья. Когда же учитель отвернется или подойдет к классной доске, то внезапно лопается стекло на лампе, начинается копоть, одни лезут тушить лампу, другие бегут за ламповщиком и, разумеется, долго его не находят. Если же кто скоро найдет ламповщика, то такого класс присуждает к наказанию «шестованием». Оно состояло в том, что виновного клали на длинный стол вниз лицом; на спину и на ноги его садились два-три кадета и затем взад и вперед по столу возили виновного.

Стекла на прежних масляных лампах лопались часто без всякой причины, но в то же время этому помогали и кадеты. Для этого из гусиных перьев делались маленькие спринцовки, из которых брызгали на раскаленное стекло горячей лампы, стекло лопалось, и этим средством легко было оттянуть минут десять от урока или от спрашивания.

Специально же при спрашиваниях урока каждый порядочный товарищ, чтобы оттянуть время и тем спасти других от вопросов, должен был не торопясь встать, медленно обтянуть курточку, еще медленнее застегнуть стоячий воротник, несколько раз откашляться, вынуть платок, обтереться и потом уже отвечать. Подсказывание разными способами было в большом ходу.

Некоторые, чтобы спастись от спрашивания, умели производить кровотечение из носу. Были искусники, которые производили у себя искусственную рвоту. Но были и такие шалуны, которые и без этого искусства подражали естественной рвоте и не только отнимали полчаса времени у учителя, но даже вызывали еще в

нем участие и сострадание к кадету, которого стошнило. <...> Сердобольный учитель спрашивал, почему же он, больной, не идет в лазарет? Кадеты отвечают, что у нас в лазарет принимают только того, кто близок к смерти. <...>

Это все проделывалось в средних классах кадетами от 14 до 16 лет. Но дурачились и в старших классах, за год и за два до офицерства. Так, помню, как <кадеты> Можайский и Висягин поймали в саду какую-то скверную собачонку, наловили в ней блох целое гусиное перышко; морили этих блох голодом неделю и потом высыпали их на немецкого учителя Альберса. Сделано было это в присутствии всего класса, и понятно, каждое почесывание немца вызывало общее веселье и смех...

Крылов Н. А. Кадеты сороковых годов (Личные воспоминания) // Исторический вестник. 1901. Т. 85. № 9. С. 943-967.

А. М. Миклашевский

Из воспоминаний

Дворянский полк. Вторая половина

1840-х годов

...Что может быть ужаснее публичного телесного наказания? А тогда это было совершенно заурядным делом: всыпать юноше от 50 до 100 горячих — ничего не значило. Стыд отодвигался на задний план, одни истязания возбуждали затаенную злобу, молчаливую и непримиримую вражду.

Бывало, стоишь во фронте, растянут перед твоими глазами товарища, и два заслуженных гвардейских унтера лупят несчастного, что называлось тогда, с двух сторон; нередко несчастная жертва закусит руку и не издаст ни одного звука, ни одного стога. Подобное молчаливое перенесение позорного наказания остервеняло нас, присутствующих: так бы вот и кинулся, так бы и разорвал на клочки истязателей, но мы поневоле уходили в себя. Читатель поймет ту нравственную пытку, которая выпадала на нашу долю, и какие могли быть результаты от этого перемогательства, от этого сдерживания молодой кипучей натуры...

Кто знает, быть может, эти суровые меры и образовали те закаленные и стальные характеры, которые проявлялись потом, в особенности в боевом мире. Дворянский полк дал немало героев отечеству!..

Тем не менее, однако же, наказания эти вызывали и тогда истории самого неприятного и драматического свойства: кто не помнит, например, из моих товарищей происхождения с Хамратом. Их было в Дворянском полку три брата — дети артиллерийского генерала; младший

из них прелестный мальчик и настолько кроткий с виду, что от него нельзя было ожидать ничего резкого.

Был он во 2-й гренадерской роте у известного тогда Р...ского, известного и по надоедливости, и по жестокости обращения с воспитанниками. Он давно подбирался к маленькому Хамрату, Хамрат же, как рассказывали товарищи, в свою очередь, натачивал перочинный ножик с двух сторон, конечно, никто не знал, зачем.

В один злополучный день Р...ский потащил Хамрата в цейхгауз, где учинялась неофициальная порка; розги и скамья явились моментально.

«Раздевайся, м<ерзаве>ц!» — закричал Р...ский.

«Не разденусь», — отвечал совершенно спокойно Хамрат.

«Раздеть его!» — закричал Р....ский архаровцам, которые производили порку.

«Кто подойдет ко мне, тому вот что будет», — и Хамрат показал маленький, обоюдоострый ножичек.

«Я тебя не боюсь, я и в Турции бывал, и в Персии бывал, ничего не боюсь», — и с этими словами Р...ский кинулся на Хамрата.

На этот раз Р...ский ошибся в расчете, Хамрат пырнул его ножом в бок; ранил ли он его или нет, это, конечно, осталось тайной для воспитанников, но Р...ский не ходил месяц в роту, а бедный Хамрат был выслан в солдаты. <...>

Этот несчастный случай, как и много других, поневоле формировали тот оппозиционный дух в воспитанниках, который и руководил их в разных проказах с преступными оттенками, которые нельзя уже было назвать *детскими шалостями*. Невозможно забыть так называемых «варфоломеевских ночей» в Петергофе... Не описываю их потому, что одно воспоминание наводит на тяжелые размышления.

Все офицеры и ротные командиры имели особенные прозвища, даваемые очень метко остроумной молодежью; туту были: *Петух, Кот, Баран, Морковь* и *Каланча*, всего, конечно, не упомнишь. <...>

Наказания, переносимые с полным равнодушием, никогда не достигали исправительной цели; вставший с позорной скамьи, не испустивший ни одного стога после тяжкого и позорного наказания становился героем в глазах товарищей, и вопрос о возмездии при удобном случае был на первом плане.

Так шло воспитание, учение же шло совсем иначе. Чуткая молодежь совсем иначе относилась к учению и учителям и, конечно, за некоторыми исключениями, любила учиться, хотя и в этом случае дело не обходилось без противоречий.

Образование будущих военных людей предполагалось общее; хотя и имелось два, а впоследствии три специальных класса, но специальность их была чисто военная.

Предполагалось, что будущий военный должен знать все хотя бы настолько, чтобы мог, в случае надобности, продолжать дальнейшее изучение известного предмета; цель, бесспорно, прекрасная, но достигалась она с большим трудом; знать все — значило не знать почти ничего; были, однако же, талантливые натуры, которые оканчивали курс и сдавали блестящим образом последний, так называемый выпускной экзамен из всех предметов; но таких было немного. За тем учащаяся молодежь, видимо сама собой, распадалась как бы на «факультеты»: одни с полным усердием занимались естественными науками и математикой, другие отлично шли по истории, третьи — по военным наукам и, наконец, по языкам и литературе. <...>

Отец Иоанн <Рождественский> преподавал Закон Божий в специальных классах, мы чрезвычайно любили

его лекции.

Огромного роста, совершенно сухощавый, с очень жиденькой, но довольно длинной бородкой, широкий, красный расплуснутый нос, все лицо покрыто красными пятнами, — представляли отца Иоанна далеко не красивым. Высокая же нравственная красота, необыкновенная сила светлого ума и обширные богословские познания совершенно заслоняли физические недостатки этого обожаемого всеми наставника. Когда отец Иоанн читал лекцию или в особенности выходил говорить проповедь, все мы толпились в церкви около него, стараясь пробраться поближе к нему, чтобы не проронить ни слова. Выходил он всегда без книги, без малейшего лоскутка бумаги, подготовки не было никакой; он, видимо, вдохновлялся во время самой речи; это была не простая, заурядная проповедь, не было ни пафосу, никаких литературных приемов, это была душевная беседа, охватывающая сразу все внимание слушателей, благотельно действующая на ум и сердце молодежи, и лицо его, освещенное умом и кротостью пастыря, было прекрасно. Отец Иоанн обладал поразительной памятью, он знал всех по фамилии, что не было с другими, потому что нас было очень много, и уже впоследствии, по прошествии многих лет, встречаясь с кем-нибудь, он называл прямо по фамилии, припоминая разные мельчайшие подробности. Мы долго горевали, когда его перевели от нас во дворец, кажется, к великой княгине Марии Николаевне. Сложившись все, кто сколько мог, мы поднесли достойнейшему отцу Иоанну серебряное вызолоченное блюдо, и на нем был положен наперсный золотой крест на золотой цепи.

Перехожу теперь к рассказу настолько характерного происхождения, что оно осталось навсегда в памяти у воспитанников 1-й гренадерской роты 1848

года и выдвинуло значительно вперед нашего товарища <Василия Степановича> Курочкина.

По каким-то экономическим или гигиеническим соображениям при <начальнике полка генерале Федоре Григорьевиче> Г<ольтгое>ре очень плохо кормили и, главное, не топили, а зимы были в те годы прехолодные, нередко морозы от 25 до 30 градусов выдерживали по два месяца.

Бывало, вечером Г<ольтгое>р придет в роту, руки запрячет в рукава сюртука, плечи подняты вверх, он идет с неизбежной свитой дежурных <офицеров> сзади.

«Здесь душно! Жарко — отворить все форточки», — скажет он.

Форточки все открыты, и мы, озлобленные, зябнем напропалую.

В царствование императора Николая Павловича каждое воскресенье производился развод с церемонией, на котором присутствовал всегда сам император. От всех военно-учебных заведений, в том числе и от Дворянского полка, отправлялось непременно по одному взводу <...> Нечего и говорить о том блеске и роскоши, о том чудном военном экстракте, если можно так выразиться, который представлялся императору каждое воскресенье, и в особенности в ординарцах; в них всегда выбирались самые лучшие фронтовики, самые красивые мальчики, одетые всегда с иголки; нередко <...> императору представлялись от маленьких рот чуть не дети, а государь, оставшись довольным, собственноручно подымал за локти такого ординарца и награждал его царским поцелуем.

Обыкновенно мы выходили в развод часов в 10 утра, <...> нередко в трескучий мороз, <...> одетые в полной парадной форме, во всей амуниции, имея шинели внакидку; шинели эти тоненькие, так называемого серо-немецкого сукна, только в талии подшитые холстом,

нисколько не придавали тепла; в четыре же часа мы уже возвращались домой, конечно, прозябшие и голодные.

В описываемое злополучное воскресенье развод был от нашей роты; государь почему-то в особенности был в духе и доволен разводом. Мороз был в этот день нестерпимый, так что, возвратясь домой, мы совсем окоченели от холоду; все старания обогреться дома в роте были напрасны... было или вовсе не топлено, или протоплено настолько слегка, что, назябшись, мы не могли согреться.

Кому, не знаю и не упомню, пришла нелепая мысль вытопить во что бы то ни стало; эту мысль подхватили другие, а чрез полчаса печи уже пылали крайне приветливым огнем, маня к себе обогреться прозябших. Вместо дров были употреблены табуреты ясеневые или березового дерева, которые составляли нашу единственную мебель — на ней мы сидели во время занятий и ужина. Пробыло 9 часов вечера, час ужина.

«Строиться к ужину!» — закричал дежурный по роте унтер-офицер.

Оказалось, что большей половины табуретов недостает. Офицер, дежурный по роте, был штабс-капитан Романов, обойдя все столы, он убедился, что большая половина воспитанников ужинают стоя.

«Где же табуреты?!» — закричал он.

«В печке!» — раздался чей-то голос из воспитанников.

Не расспрашивая, кто это сказал, не учиня никакого предварительного расследования, Романов отправился прямо на квартиру к директору Г<ольтгоеру>, а директор, как мы узнали уже потом, в тот же момент полетел к <начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов> великому князю Михаилу Павловичу и донес ему о случившемся.

Слово «не выдавать» было нашим девизом; Дворянский полк отличался самым стойким товариществом, которому нередко завидовали прочие военно-учебные заведения. Сплоченное таким образом товарищество нередко переносило сечение через одного, но «не выдавало». Это имело и худые, и хорошие стороны.

Но на этот раз вышло не так; некто воспитанник Гюс, кажется из ревельских баронов, но, наверное, немец, участвуя сам в сожигании табуретов, вероятно, трусил и, предполагая, что его участь будет облегчена, — выдал в этот же вечер всех зачинщиков, передав Романову их фамилии, так что с Гюсом их было четыре, фамилии двух я забыл, помню только Гюса и Бирюкова.

Пробуждение на другой день было ужасное! Мы чуяли приближение чего-то очень и очень недоброго, так оно и вышло.

В 10 часов утра рота была выстроена: двери, выходившие на лестницу и в следующую роту, были растворены на обе половины, что делалось только в особо торжественных случаях. Мы были в угнетенном состоянии духа тем более, что еще с вечера узнали о выдаче Гюсом всех зачинщиков.

Утро было пасмурное, на душе у каждого из нас было еще пасмурнее; тучи надвигались все ближе и ближе, и вдруг из-за туч, как отдаленный раскат грома, услышали мы голос великого князя; медленными шагами шел он по соседней роте, его голос доходил уже до нашего уха.

«Зачинщики, вперед! — прогремел голос великого князя. — Ах, вы!»

Перед нами был великий князь; никогда мы не видали ничего ужаснее этого гневного лица, — сзади его Г<ольгоер> и многочисленная свита наших офицеров. <Командир нашей роты> Герцыг вызвал по

фамилиям зачинщиков — они вышли вперед. Тогда только мне бросилось в глаза, что Гюс — огненно-рыжий, значит, подумал я, судьба всем рыжим быть предателями.

«Всех их наказать розгами перед ротой, — грянул опять голос великого князя, — и в солдаты, в солдаты! Всех выпускных оставляю на год от выпуска, унтер-офицерам и ефрейторам галуны долой, всем сбавить по баллу за поведение и не пускать со двора всех впредь до моего приказа, я доложу об этом государю императору!»

Не поздоровавшись и не попрощавшись, великий князь круто повернулся и быстрыми шагами удалился из нашей роты.

Затем мгновенно явилась скамейка и громадная куча розог. Началась экзекуция. Жаль было Бирюкова — это был красивый, симпатичный, с необыкновенно добродушной физиономией юноша; он перенес наказание стойко, не издав ни одного стога; Гюс же орал беспощадно. После наказания мы более не видали несчастных товарищей, их отправили в солдаты, не знаем, куда и когда.

Мы все очутились под сильной опалой, самое, конечно, ощутительное наказание было — не выходить со двора, сидеть по воскресеньям и праздникам в казенных стенах, а главное, Рождество было не за горами, и нас ожидало то же томительное сидение; на всех напало уныние.

Был, должно быть, уже ноябрь на исходе; приближалось какое-то торжество в честь великого князя Михаила Павловича <...>. Мы ничего не ожидали и ни на что не рассчитывали; погруженные в свое опальное положение, утешались только тем, что товарищи, у которых были деньги, хранившиеся у ротного командира, записывались по воскресеньям на так называемую «пирушку», которую делали с

неимущими товарищами. <...> Это имело хорошую сторону, подготавливая в будущем то радушие, которым отличается военный человек, делясь по-братски последним куском с товарищем. Пирушка обыкновенно заканчивалась пением, пением заунывным и мелодичным <...>. Так коротали мы праздничные дни до последних чисел ноября.

Наконец настал юбилейный день его высочества Михаила Павловича. Не помню ни дня, ни числа, когда это было. Классов по этому случаю не было.

Заметили мы с утра, что Курочкин что-то особенно суетился; ему дали все новенькое, все блестящее; он уже оделся. Герцыг приехал тоже в полной парадной форме, со всей тщательностью осмотрел Курочкина и всю его амуницию, обратив внимание даже на сапоги.

Оказалось наконец, что Василий Курочкин сочинил ко дню юбилея великого князя стихи; его вместе со стихами везли во дворец представить юбиляру. Всех стихов не помню, но вот их первый куплет:

В великий день воспоминания
Твоих деяний и заслуг,
Прийми, как дань, символ признания
Твоих младых, но верных слуг, —
и т. д.

Стихи были написаны очень хорошо и хорошим языком; мы, однако же, не придавали этому никакого особенного значения и ничего хорошего для себя не ждали.

В 4 часа Курочкин вернулся из дворца вместе с Герцыгом. Мы, конечно, его обступили; прелестный бриллиантовый перстень красовался на правой руке Курочкина, сам он сиял необыкновенным восторгом и радостью.

Нам дана была полная амнистия. Герцыг объявил, что Его Высочество приказал снять наложенное им наказание, и мы сейчас же, хотя на несколько часов, полетели со двора.

Восторг был полный, каждый чувствовал что-то особенное к Курочкину, тут была и благодарность, и уважение, и некоторая гордость, что-де и между нами явился поэт. <...>

Мир же праху всем тем, кого я здесь вспомнил и кого уже нет в живых, а живых осталось немного! Мир праху нашим всем учителям и воспитателям; если некоторые из вас и были жестоки, то в этом было виновно, конечно, время, а не вы; телесные наказания практиковались в то время и в частном быту, в благородных семействах; пороли да приговаривали: «Ничего, брат, за двух небитых дают одного битого».

Не могу я обойти признательностью наших бывших воспитателей, ротных командиров и офицеров уже и потому, что немало труда и внимания вложили они в дело нашего воспитания. Оставив стены заведения, мы с удовольствием встречались с каждым из них, совершенно забыв их невольные и не злонамеренные ошибки, так как мы сделались людьми благодаря все-таки их попечению.

Миклашевский А. М. Дворянский полк в 1840-х гг. // Русская старина. 1891. Т. 69. № 1. С. 111-125.

К. Ф. Кулябка

**Из «Воспоминаний старого орловца»
Орловский кадетский корпус. Конец
1840-х годов**

В январе 1847 года я поступил в Тульский Александровский малолетний кадетский корпус, составлявший неранжированную роту Орловского Бахметьева корпуса. После экзамена, произведенного единолично инспектором классов штабс-капитаном В. И. Пясецким, я был принят в младшее отделение 2-го приготовительного класса. Не могу пожаловаться, чтобы товарищи отнеслись ко мне, как к новичку, враждебно; обступили меня, предлагали разные вопросы: например, ел ли я дома физику и химию, а когда я отвечал, что не ел, то перешли к вопросам: учился ли я тому-то и тому-то; тут я погрешил и сказал, что я это учил, и они решили, что я должен поступить в старший класс, причем отнеслись ко мне очень дружелюбно. Контингент воспитанников состоял из поступивших в корпус в августе месяце и прибывших из малолетнего Александровского Царскосельского <кадетского> корпуса. Это тоже были мальчики не выше 10 лет, но считались «старыми» кадетами; они руководили играми и умели делать разные коробочки, альбомы (дворцы) и проч. Директором был полковник Языков, которого мы мало видели, а ротным командиром — Петр Иванович Гинц; этот маленький, коротко стриженный капитан, с вечно суровым и неприветливым лицом, и был наш главный руководитель.

Воспитательная часть лежала преимущественно на дядьках, которых было четверо, по числу отделений в

роте. Это были отставные унтера, преимущественно гвардейских полков они обучали нас фронтовой выправке, а также блюли за нашим туалетом, строго наблюдая, чтобы носовые платки не были скомканы, а сложены в карманах; перед обедом они выносили медные тазы с квасом, куда обмакивали головные щетки и причесывали нас с висками на лоб, причем потеки от кваса так и засыхали на наших лбах. Учительский персонал состоял из законоучителя Дарского, учителя естественной истории и русского языка Шиманского, математики подполковника Мяковского (он, кажется, был и корпусный казначей), чистописания и рисования Саратова, француза Крауза и немца Берхмана. Лучшие по успехам воспитанники записывались в классе в списках над красной чертой, средние — под красной, а худшие — под черной; здание корпуса было чрезвычайно нарядно: большие спальни, на стенах которых золотыми буквами были надписи о времени посещения корпуса членами императорской фамилии.

В августе месяце в кибитках, помещавших по четыре кадета, вся рота отправилась в Орел для последнего укомплектования Орловского корпуса, так что в последующие годы из Тулы только прибывали перешедшие во 2-й общий класс.

Прибывши в Орел, мы остановились на берегу реки Орлика. Здесь мы вымылись, почистились и строем пошли в корпус, где составили 2-ю мушкетерскую роту. Встретил нас там директор корпуса генерал-майор Сергей Николаевич Тиньков и в заключительной речи объявил нам, что об обмочившихся в постели публикуется в приказе по корпусу. Действительно, в приказе по корпусу, который читался нам пред вечерней молитвой, после нарядов на дежурство и приказов по военно-учебным заведениям была рубрика: «Сего числа обмочились в постели». <...>

В каждой роте были по четыре дежурных офицера, преимущественно назначаемых из армейских пехотных полков; были и кавалеристы, артиллеристы и гвардейцы. Все они мало значили как воспитатели и смотрели только на своих дежурствах за тишиной и нарушавших ее наказывали на штраф (стоять посреди залы), а также лишали последних блюд — одного или двух; некоторых, но, слава Богу, их было немного, лишали на ночь тюфяка, и таким приходилось спать на одних только кроватных досках.

Но были и исключения, и приходится с большим удовольствием вспоминать о дежурном офицере штабс-капитане лейб-гвардии Волынского полка Порфирии Алексеевиче Иващенко — это был истинный воспитатель, принимавший участие во всех играх кадет; он умело и сердечно относился к нам, и мы его очень ценили, а на его дежурстве старались соблюдать тишину и порядок (Порфирий Алексеевич во время Крымской войны был командиром Севского пехотного полка).

Не могу не отметить прекрасный прием Порфирия Алексеевича: при утреннем вставании неприятно было расставаться в 6 часов утра с постелью, а потому дежурные офицеры поднимали постоянно крик, шум, сыпались угрозы лишить утреннего завтрака, сдвиганья одеяла и проч., а Порфирий Алексеевич на своем дежурстве, после пробития зари, обходил нас и, нежно потрагивая, говорил: «Проснитесь»; потом, спустя, несколько минут уже командовал: «Вставать!» — и всякий старался немедленно исполнить его приказание, другие же дежурные офицеры не брали в пример подобный способ.

Как противоположный тип, вспоминаю дежурного офицера Тетерина, перешедшего в корпус из Конной артиллерии. Это был человек с каким-то неприятным гробовым голосом и наказывавший без утреннего

завтрака, минуя обеденные лишения блюд, зная, что для воспитанника это было тяжелое наказание быть голодным до обеда. Тетерин после был ротным командиром и за инцидент в лагерях с одним красивым воспитанником своей роты был отчислен в гарнизонный батальон, хотя место ему должно быть в арестантских ротах. Тетерин был женатый человек. <...>

Кроме вышеприведенных наказаний, был арест. Существовала особая светлая комната со сдвижной кроватью, и над дверью на зеленой доске золотыми буквами была надпись: «Уединенная комната». Кроме того, в каждой роте существовали свои арестные помещения, например в 3-й роте амуничник, чрез который был ход на церковные хоры. В амуничнике этом были две двери, но одна из них была заставлена шкапом, и таким образом в промежутке, в этом мешке, без света и воздуха, помещался нередко заключенный.

Во 2-й роте в командование Петра Ефимовича Янковича драчунам надевали на руку солдатскую рукавицу и ставили во время обеда около барабанщика или горниста, и маленький забияка с поднятой рукой, со слезами на глазах простаивал целый обед, но эта «привилегия» принадлежала только 2-й роте, а другие ротные командиры этим не пользовались. Когда назначался к столу горнист, то он в продолжение всего обеда наигрывал сигналы. Ротные командиры обращались к кадетам с вопросом, какой был сигнал, и незнающего наказывали без блюда.

Теперь перейдем к более тяжким, но довольно частым наказаниям розгами; это право принадлежало исключительно директору и отчасти ротным командирам. В роте существовал штрафной журнал, куда дежурными офицерами записывались разные проступки воспитанников; эти журналы ежедневно представлялись директору, который на полях делал резолюции: «Прошу ротного командира дать 25 крепких

и по исполнении донести мне запиской»; резолюция эта не тотчас исполнялась, а выжидалось время, пока наказуемых собиралось несколько, и тогда ротный командир вел их в цейхгауз, где ставилась скамейка, накрывалась чистой простыней, и начиналась порка, причем нужно было соразмерять свои голосовые органы: так, если кто очень крепко кричал, то говорилось, что он жесток на расправу, если же кто молчал, то говорилось: «солдатская шкура». Также любили, кто кричал басом, всем этим прибавлялось некоторое число ударов. При этом находилось несколько воспитанников, которые в виде назидания должны были присутствовать при экзекуции; они и разносили по товарищам о геройстве молчальников. <...>

Этот карательный режим продолжался во все время директорства С. Н. Тинькова даже и тогда, когда за смертью великого князя Михаила Павловича в 1849 году начальником всех военно-учебных заведений стал наследник цесаревич Александр Николаевич. Но за назначением директором генерал-майора <В.А.> Вишнякова телесное наказание было совершенно упразднено.

Отчисление генерала Тинькова и назначение его, кажется, бригадным командиром состоялось при следующих обстоятельствах: несмотря на кажущийся строгий режим, воспитанники Орловского корпуса, посылаемые в специальные классы Дворянского полка, были признаны там более распущенными против прибывших из других корпусов, и вот в один день к нам прибыли из Дворянского полка три или четыре кадета обратно в общий класс. Они были лишены погон, и им были оставлены лишь одни погонные пуговицы (тоже род наказания).

В этом же году корпус посетил начальник всех военных учебных заведений Его Высочество наследник

цесаревич. День был праздничный, и Его Высочество отстоял обедню и после целования креста поцеловал руку у священника; священник тоже поцеловал руку у цесаревича. Затем Его Высочество обошел воспитанников, стоявших у своих кроватей, и, пришедши в гренадерскую роту, в которой я тогда был, обратился с речью: «Господа, я вашими товарищами как в прошлом году, так и в этом очень недоволен». <...> Затем вскоре последовало назначение директором Вишнякова <...>.

Более 10 лет лагерь не имел особого места и был расположен на плацу корпуса; особых крытых столов не было, и когда, бывало, шел дождь, то обильно разбавлял и до того тощие супы; все лето до 1 августа происходили разные учения, особенно докучливы были шереножные учения с тихим шагом в три приема — это просто было истязание, в особенности в жаркие дни, при монотонной протяжной команде: «Ра-з-з-з, д-в-в-в-а и три!» После обеда производились ротные и батальонные учения, а по вечерам устраивалась иногда парадная заря с перекличкой; при этом вспоминаю следующий случай: когда при перекличке назвали фамилию одного шаловливого кадета, то он ответил: «Погиб во славу русского оружия при Михайловском укреплении», за что стоял на линейке — это было одно из лагерных наказаний. <...> По воскресеньям был церковный парад, хотя и продолжался недолго с музыкой, но давал себя знать, так как после него всегда болела голова: каска с султаном, с застегнутой чешуей необыкновенно давила голову и, разогреваясь на солнце, ужасно воняла сапожным товаром до одурения.

В свободное время воспитанники играли в лапту, ходили на ходулях и пели хоровые песни; много было любителей, которые занимались воспитанием червячков и птичек, которых выдирали из деревьев, растущих в саду у забора. Один ухитрился выдрать белого воробья

(альбиноса) и доставил большое удовольствие учителю естественной истории Тарачкову, сделавшему из него чучело.

С 1 августа до 15-го были каникулы, и некоторые разъезжались по домам в отпуск.

Обратимся опять к составу ротных командиров. Алексей Ефимович <Янкович, переведенный из Полтавского кадетского корпуса>, был <...> мягкого характера и даже когда вел воспитанника на расправу, то дружески обнимал его. Он отличался всегда франтоватостью и поощрял к франтовству и воспитанников: в его командование появились собственные сапоги на высоких каблуках, которые дозволялось надевать в танцкласс. Можно было употреблять душистые мыла и помадиться.

Алексей Ефимович также нашел неприличным, чтобы в число воскресных лакомств, которые покупались на собственные деньги, хранящиеся у ротных командиров, входили колбаса и булки, а между тем по воскресеньям более всего чувствовался голод, так как более всего находились в движении, и обед, быв не так сытен, оканчивался слоеным пирожком.

Питание наше состояло утром из кружки сбитня с молоком и булки из второго сорта муки, величиной гораздо меньше обыкновенной французской; золотушным вместо сбитня давалось молоко. Сбитень с молоком составлял приятный напиток, а булка представляла солидный «денежный знак»: за нее можно было обменять и карандаши, и тетради. Она была единицей при проигрыше пари и проч. С 11 часов давался кусок черного хлеба, а в час — обед, состоявший из трех блюд: супа или щей, куска вареного мяса с огурцом или гарниром, пирог или каша; за вторым блюдом ставились графины с водой и квасом. Затем ужин состоял из двух блюд: супа и каши-размазни или крупеников или картофеля в мундире с

маслом, а иногда вместо ужина давалась кружка молока и булка. Если каша-размазня подавалась часто и надоедала воспитанникам, то кашей смазывались салфетки. Этим выражался протест эконому <...>. Перед обедом пелась молитва всеми воспитанниками, а также часто пелась и вечерняя молитва. В Тульском корпусе на молитву выходили три воспитанника: православный, лютеранин и католик. Лютеранин читал по-немецки, а католик — по-польски.

Когда Алексей Ефимович женился, рота присутствовала в церкви, и потом под подушками на кроватях мы нашли конфеты и яблоки. <...>

<В корпусной библиотеке> книги были расставлены по ранжиру, в красивых переплетах, но трудно сказать, для какой она цели существовала, так как воспитанники ей не пользовались и не видно, чтобы ей пользовались преподаватели и офицеры; воспитанникам же позволялось читать «Журналы военно-учебных заведений»^[30], которые хранились у каптенармусов в цейхгаузах; собственные книги если и были, то на них должна была быть надпись: «Сию книгу иметь дозволяется — помощник инспектора Маслов», без этой надписи книга у воспитанника отбиралась, даже Новый Завет не избегал этой цензурной надписи. Только в директорство Вишнякова были учреждены ротные библиотеки, помещавшиеся в шкафах, стоявших в спальнях. Но системы для чтения никто не рекомендовал, и этим делом, кажется, никто из начальствующих не интересовался. Заведовал библиотекой один из кадет роты. Редко, но все-таки проникала в среду кадет и «нелегальная» литература, как то «Три мушкетера» и прочие романы Дюма, которые читались с большой осторожностью, во избежание отобрания. <...>

Со вступлением директора Вишнякова в праздничные дни были устраиваемы кадетские спектакли, живые картины и бывали балы, посещаемые цветом Орла.

Воспитанники скоро сделались настоящими кавалерами, хотя ходил рассказ, что один кадет пригласил на легкий танец одну девицу и предложил, как ей угодно танцевать: за даму или за кавалера? Особое джентльменство слабо прививалось, так как очень мало воспитанников посещали свои дома за отдаленностью, плохими путями и краткосрочными отпусками; в наш проезд из Тулы в Орел ехали по грунтовой дороге, даже тогда шоссе не было; единственный раз мы воспользовались продолжительным каникулярным отпуском — это после смотра императора Николая Павловича, повелевшего дать нам отпуск и освободить от лагерных учений.

Не знаю, вследствие каких причин выработался особый тип, считавшийся молодечеством, и назывался *закалы*. Они ходили вразвалку, говорили басом, были хорошие товарищи, но нелюбимы начальством; красивые воспитанники назывались *мазочками*.

В числе новшеств было обязательное писание писем пред праздниками Рождества Христова и Светлого Христова Воскресения к родителям, которые отправлялись на казенный счет; письма эти сопровождалась аттестациями ротного командира, и вот один маленький кадет Ф., сын генерала с почтенной немецкой фамилией, лютеранин, писал отцу: «Милый папаша, позвольте мне перекреститься, так как все товарищи называют меня колбасником». А другой, более бесстрашный, не отличавшийся успехами и хорошим поведением, писал: «Милые родители, учусь и веду себя скверно, в чем может засвидетельствовать ротный командир». Это возмутило ротного, и он велел переписать, но воспитанник упорно отказался, и нужно

думать, что письмо пошло в первоначальном виде, но находчивый воспитанник адресовал в тот город, где его родители никогда не были.

Все эти новшества не завоевали любви к новому директору, и мы часто вспоминали Тинькова, прощая ему его наказания. Вспоминали его за добродушие, и что он в продолжение своего директорства никого не сделал несчастным.

<Помню, как> на выпускном экзамене во 2-м специальном классе одному из способных учеников достался билет о Хераскове; он и говорит, что Херасков был сын бедных и не благородных родителей, что отец не мог дать ему приличного образования, а потому определил его в кадетский корпус^[31]. Разразился гневом Вишняков, и способный кадет оставил корпус, поступил в другое учебное заведение и был потом прекрасным выборным мировым судьей. <...>

Период, обнимающий мои воспоминания, относится к первым годам основания корпуса. Воспоминания мои подчеркнуты событиями, немыслимыми в настоящее время, но, несомненно, были и светлые страницы кадетской жизни. Корпус воспитал истинно русских людей, патриотов и дал из тогдашнего состава представителей высших чинов армии, корпусных командиров, администраторов, начиная с губернаторов, земских деятелей, судей и других...

Кулябка К. Ф. Воспоминания старого орловца // Русская старина. 1908. Т. 135. № 8. С. 367-381.

Д. А. Скалон Из воспоминаний Первый Санкт-Петербургский кадетский корпус. 1852-1859 годы

...В январе 1852 года батюшка повез меня в корпус и сначала представил директору Оресту Семеновичу Лихонину. Это был сухой и бессердечный человек, но корпус держал в большом порядке.

Через несколько дней я был определен и назначен в неранжированную роту. Батюшка опять повез меня в корпус. Мы вошли через парадный подъезд в бывшем Меншиковском дворце. Поднялись по дубовой старинной лестнице, бесконечным коридором дошли до общей сборной залы, которая показалась мне пустыней; у меня упало сердечко, и я боязливо хватился за руку папа. «Что ты, Митя? Не робей <...>. Учись и води себя хорошенько, будешь доволен и полюбишь свой корпус». Я подбодрился.

Ротный командир, капитан Сухотин, обласкал меня. Рота сидела в классах. Отец простился со мной, благословил и уехал.

Жутко стало. Но я крепился. Меня посадили во 2-й приготовительный класс, так как половина курса была пройдена и мне было бы трудно успевать в 1-м общем. Благодаря этому обстоятельству я не боялся уроков, тем более, что познания мои во французском и немецком языках были выше товарищей. Страшил меня только учитель арифметики Зверзин. Это был своего рода тип: худой, рябой, с прической коком, во фраке с пуговицами; он не спрашивал обыкновенным голосом, а как-то рычал и при малейшем замедлении в ответе

насупливал брови и молча ставил единицу, двойку или тройку, в зависимости от общих познаний ученика.

Кадеты опасались этих баллов, потому что по субботам все классы обходил инспектор А. Я. Кушакевич и приглашал к себе на чай. Кушакевич был хохол, хороший математик, дружил с < академиком > Остроградским и любил поговорить. В другие дни мы радовались его приходу, потому что, понюхав табак, он, не останавливаясь, говорил до перемены, ну а по субботам бедные лентяи терпеть его не могли. Он обучал великих князей Николая Николаевича и Михаила Николаевича, в обращении с кадетами был прост и приветлив, но любил пороть. Должно быть, потому, что торжественная обстановка и вызываемые сильные ощущения возбуждали в нем потоки излюбленного красноречия.

Были кадеты, которые не боялись розог и, как спартанцы, переносили их внемую. Товарищи к ним относились с уважением, и на них розги не налагали позора. Были и такие молодцы, которые не давали себя сечь. Так, Арнольд бросился в галерею второго этажа и переломил ногу, а Крейтер — в Неву, но его успели вытащить.

Утреннюю зарю били в 5 $\frac{1}{2}$, в 6 строились к осмотру и после молитвы шли к столу. Пили сбитень с булкой. В 7 садились готовиться к урокам в классы. В 8 приходили учителя. В 25 минут 10-го барабан означал перемену на десять минут; выбегали на плац или в сад; в 11 оканчивались утренние занятия; получали ломтики хлеба с солью; через полчаса отправлялись на строевое ученье, гимнастику или в танцкласс; в половине 2-го переодевались в новое платье; производилась стойка по кроватям, то есть вытягивались по правую сторону кроватей. После стойки до обеда давалась первая рекреация на $\frac{3}{4}$ часа. Во время стойки нас обходило

высшее начальство — командир батальона полковник Малевич или директор.

В эти же часы приезжали государь император Николай Павлович или цесаревич <Александр>. У меня, как поступившего в январе, еще не было погон; в первый же приезд государь, обходя роту, остался недоволен стойкой некоторых кадет; в особенности дурно стоял один из дневальных кадетиков, а был он, как все должностные, в погонах. Государь, обходя роту, выражал свое неудовольствие. «Это что за стойка? — раздавался его громкий голос. — Разве это стойка! Разве можно награждать погонями при такой выправке?» При этом он указывал на кадет, которые неправильно стояли. Поравнявшись со мной, государь указал: «Вот стойка!» Помню его строгое лицо, конногвардейский сюртук и заплаты под мышкой и на сапоге. Государь отбыл и в знак неудовольствия не распустил нас <в отпуск>.

После отбытия началась переборка. «Отчего это у Скалона нет еще погон? — спросил директор. — Разве он плохо учится или дурно себя ведет?» — «Никак нет-с, ваше превосходительство, — ответил наш новый ротный капитан Михаил Яковлевич фон дер Вейде, — он прекрасный мальчик». — «Так налейте ему сейчас же погоны». Я был ужасно обрадован, в особенности отличием самого государя императора, и с гордостью посмотрел на новое украшение моей куртки. Но... батальонный командир приказал меня нарядить постоянным дневальным от 11 до 4, то есть на время возможных посещений, для того, чтобы было благоприятно первое впечатление, так как дневальные стояли у входных дверей в роту, и это до следующего приезда императора, то есть ежедневно от 11 часов до 4. Это было почетно, но утомительно и лишало меня рекреаций, вынуждая ходить в амуниции и с каской.

Вечерние классы с переменой в 10 минут оканчивались в 7 вечера. До 8 мы были свободны и резвились в большой зале с портретом нашей основательницы императрицы Анны Иоанновны. <...> От 8 до 9 готовили уроки. В 9 ужинали; в 10 весь корпус спал.

Следующей весной капитан фон дер Вейде устроил спектакль. Я отличался в какой-то детской пьесе <...>. Костюмы пажей были получены от Театральной дирекции <...>. Они были малинового бархата с галунами и кружевными воротничками. После спектакля был бал, и я удостоился чести танцевать кадрили с супругой директора Надеждой Афанасьевной, рожденной Сатиной <...>.

В 1-м общем было потруднее, потому что кадеты более старшего возраста этого класса переводились в строевые роты, а в неранжированной роте оставались более способные младшего возраста, приходилось тянуться за баллами <...>.

В рекреационное время меня и некоторых товарищей брал к себе на квартиру наш ротный командир Михаил Яковлевич фон дер Вейде. Это был отличнейший человек, высокообразованный, он во всех отношениях выделялся из среды корпусных офицеров, которая, за малыми исключениями, была невысока в отношении светского лоска и знания языков... Были хорошие люди, но были и невозможные.

Ученье шло хорошо. Я был в первом десятке. Любил историю, географию, языки <...>, чувствовал отвращение к грамматике <...>.

С товарищами я был в хороших отношениях, в рекреациях мы играли в казаки-разбойники, причем некоторое время я был во главе одной стороны, а горец Чермоев — другой. Под конец сторона Чермоева одолела меня, и после отчаянной обороны я был пленен.

Чермоев предложил мне дружбу, и мы подружились. Он даже стал ходить к нам в отпуск. <...>

Время текло <...>. В классах произошла большая перемена, вместо Кушакевича инспектором классов был назначен полковник Линден, высокообразованный, обходительный, всегда ласковый, он значительно поднял преподавательскую часть и привлек в корпус наилучшие педагогические силы. Субботние порки исчезли, секли редко и только в самых крайних случаях.

Мой излюбленный предмет, историю, преподавал Астафьев, замечательно гуманная и высокообразованная личность. <...> Математические страдания начались только в следующем классе, учил алгебре отставной морской офицер Михаил Павлович Епанчин, или, как мы его звали, «радикал во фраке». Учил хорошо. Но что это был за сухарь... Казалось, кроме формул, задач и логарифмов, для него ничего не существовало на свете. Мы никогда от него не слышали человеческого слова. Ходил он постоянно в черных брюках и штатском фраке, застегнутом на все пуговицы. Я редко достигал «восьмерки», а все больше получал «семь» и «шесть» баллов <из 12>.

За все время пребывания в корпусе мне приходилось держать переэкзаменовки только из алгебры, аналитики и приложения алгебры к геометрии. <...>

Зимой нас сводили в батальон. Полковник Малевич учил ружейным приемам и маршировке, в которых достигал виртуозности; с апреля, как только что просохнет плац, начинались батальонные ученья. Кадеты любили строевые занятия, и между корпусами происходило соревнование в отчетливости и чистоте исполнения всего, касающегося строя. С мая начинались отрядные ученья, в июне представлялись на осмотр государю императору.

Государь поздравлял кадет с производством.

В 1854 году был усиленный выпуск. Государь Николай Павлович подзвал выпускных и по обыкновению долго говорил с ними, благословляя и наставляя на службу. Простившись, государь поехал в направлении Зимнего дворца и не успел съехать с поля, как повернул коня и остановился между батальонами. Государь был растроган: «Прощайте, дети! Господь с вами», — повторил несколько раз и на наши восторженные крики круто повернул лошадь и, махнув рукой, галопом скрылся от наших взоров.

Прощание государя глубоко потрясло кадет, и это было его последнее обращение к нам.

Когда государя не стало, кадеты сердечно скорбели и искренно горевали по нем. Все видели в нем отца. Государь любил кадет и, видя в них своих верных и преданных слуг в армии, высказывал к ним чисто отеческое понимание и заботу. И действительно, кадеты его времен выходили служаками. Наши главные и непосредственные воспитатели были сама кадетская среда, с твердыми основами товарищества и любви к императору, который посвящал много времени кадетам, следил за их воспитанием и создавал своим отеческим попечением беззаветно преданных слуг себе и отечеству.

С производством в унтер-офицеры меня назначили во 2-ю роту к Карлу Николаевичу Малиновскому. Это совпало со 125-летним юбилеем корпуса.

Высшее начальство решило в числе празднеств устроить большой бал в общей сборной зале и спектакль, так как основание русскому театру было положено в корпусе и наши первые драматические писатели <Александр Петрович> Сумароков и <Владислав Александрович> Озеров были кадетами 1-го корпуса. Традиции эти почитались, и портреты обоих украшали стены классной галереи.

Достойнейший Михаил Яковлевич фон дер Вейде взял на себя устройство драматической части, а Малиновский — танцы. Репетиции и приготовление к спектаклю заняли у нас много времени. <...> Танцевали русский, испанский танец, мазурку, краковяк, гавот. Танцевали превосходно, участвовало до ста кадет. В корпусе вообще все физические упражнения процветали. Малиновский добивался в танцах такой же отчетливости в исполнении, как в строевых занятиях от ординарцев. <...> Все рекреации и время после ужина проходили в репетициях. Мы очень веселились.

Вначале должен был идти пролог, написанный «старым» кадетом Федором Глинкой. Появлялись кадеты старых времен, соответственно царствованиям, и читали стихи, в то время как на сцене, изображавшей наш сад, открывались ниши с украшенными зеленью бюстами наших царственных шефов. <...> Каждый кадет вспоминал свое время и излагал главные события своего времени и деятелей, подготовленных корпусом. Это был краткий исторический обзор за период восьми царствований. <...>

Юбилей праздновался молебном и парадом. Затем был обед и вечером театр. Государь император Александр Николаевич, как бывший кадет 1-го корпуса, удостоил своим присутствием, с императрицей и всей царской фамилией, наш спектакль. <...>

К Крещенью мы готовились к параду в Зимнем дворце. Перед праздниками свободные роты всех корпусов сводились в сборном зале, проделывали все ружейные приемы и церемониальный марш. В Крещение, после выхода к Иордани, нас водили в Эрмитаж пить чай с розанчиком, затем мы стояли развернутым фронтом в Николаевском зале.

Государь император обходил фронт и производил смотр ружейных приемов и церемониального марша. Разумеется, быть выбранным в Крещенскую роту

считалось за честь, и сводный батальон учился начистоту.

Летом мы пошли в Петергофский лагерь. Железная дорога была только что построена до Нового Петергофа, но еще не открыта для движения. Нас провезли на платформах, и мы вступили в лагерь в присутствии Их Величеств, имея в своих рядах цесаревича Николая Александровича и великого князя Александра Александровича. Я имел счастье стоять вместе с ними во 2-й мушкетерской роте. Цесаревич был очень красив и обходителен.

На одном маневре <...> мы были рассыпаны в цепи, и против нас действовал 2-й кадетский корпус. Подан был сигнал «наступление», местность была в кустах, кадеты стали громко разговаривать, я подбежал к флангу цепи, где расшумелись, и прикрикнул на кадет, чтобы восстановить тишину: «Что за разговоры, не извольте разговаривать!»

А один из кадетиков оборачивается, улыбается и говорит: «Виноват, г-н унтер-офицер».

Это был цесаревич.

Государыня императрица всегда сопровождала великих князей и ездила около нашего батальона в коляске. На следующий год цесаревич стоял в знаменных рядах уже унтер-офицером, и я имел счастье стоять за ним во второй шеренге.

С переходом во второй специальный класс я был переведен в 1-ю роту. В прежнее время рота пользовалась дурной репутацией. В нее назначались по преимуществу кадеты взрослые по возрасту, но не успевавшие в науках. Там еще сохранился тип «старого» кадета. <...>

Между «старыми» кадетами встречались очень хорошие и даже способные молодые люди, некоторые из них, выпущенные в гарнизон, со временем переходили в армию и затем служили даже в гвардии.

Когда я поступил в корпус, то 1-я рота еще имела этот тип, но директор несколькими усиленными выпусками в гарнизон и линейные батальоны достиг того, что очень их сократил.

Вообще, Орест Семенович был не из мягких. В бытность мою в 1-й роте я командовал 3-м отделением, в котором сосредотачивались отчаянные школяры и лентяи. Из последних пальма первенства принадлежала хохлу Черницкому. Чего только с ним не делали. Он прошел всю лестницу наказаний, ничего его не пробиало. Лично мне он был симпатичен, и я не исполнял налагаемых на него взысканий, заключавшихся в лишении пищи. Несчастный мальчик постоянно должен был голодать, потому что всегда был наказан без будки, без пирога, на одном супе и т. п. <...>

Шершнеф — необыкновенно вялый и мешковатый кадет, но добрый малый, потом выровнялся и служил в гатчинских кирасирах Ее Величества, за него мне доставалось на ученьях, а раз, выйдя из терпенья, я подтолкнул его прикладом, что было замечено капитаном Чижевичем, и был отправлен после учебы под арест.

Резвый — самый отчаянный школяр и дерзкий на ответы, но весьма симпатичный, живой характер с хорошими способностями. Все проделки с дежурными офицерами и нелюбимыми учителями исходили из его головы: хлопушки, порох, ламповое масло, жвачки, мел, мокрые губки и т. п. кадетский арсенал находили в нем гениального изобретателя. <...> Но концы так ловко им прятались, что можно было подозревать Резвого, но он не попадался. <...>

Мамонтов — черноглазый красивый кадетик, но находившийся в постоянных неладах с начальством и учителями. Однажды вечером Мамонтов еще с одним кадетиком, имя которого забыл, забрались курить на

чердак над классным флигелем. Кто-то из классных сторожей доложил дежурному офицеру, что кадеты пошли на чердак. Началось преследование. Другой кадет был уже под угрозой исключения из корпуса. Мамонтов предложил ему спуститься по водосточной трубе, но тот не решал — ся и пришел в отчаяние. «Садись на спину и держись за меня», — предложил ему тогда Мамонтов, и таким образом оба избежали поисков и незамеченные вернулись в классы. <...>

При моем поступлении в корпус 1-й ротой командовал лейб-гвардии Волынского полка капитан Прутченко — любимый кадетами за порядочность и самостоятельность; после него принял роту лейб-гвардии Павловского полка штабс-капитан Алексей Федорович Фролов. В его командование мне пришлось присутствовать при отвратительном зрелище, устроенном директором Орестом Семеновичем и нашим ротным командиром. В числе товарищей был один из братьев Плец. Небольшой, коренастый, с чистым, скорее красивым лицом и добрыми глазами, он был чрезвычайно упрямый и неподатливый в обращении с начальством. Плец был выпускной. Не помню, по какой причине ротный командир выбрал Плеца. У Фролова была чрезвычайно неприятная манера обращения с кадетами, усвоившая ему кличку «собачка». Плец заупрямился и не исполнил повторенных требований Фролова. Не помню дальнейшего хода истории. Плец сидел под арестом. Мы собирались на ученье, построились, а нас не ведут. Отворяется дверь, и является торжественное шествие: директора, батальонного, штаб-офицера, адъютанта, милейшего и симпатичнейшего капитана Геракова, в сопровождении отряда музыкантов, в числе обязанностей которых входили экзекуции. Сторожа принесли скамейку и розги. Привели Плеца, и, после нескольких слов Ореста Семеновича, Плеца жестоко выдрали.

Он ни слова не произнес и молча, весь красный, удалился. Мы были глубоко возмущены и потрясены такой расправой с взрослым, выпускным кадетом за несколько месяцев до его производства в офицеры.

Само собой, подобные действия становились непреодолимой преградой в сердечных отношениях между кадетами и такими начальниками. Лихонина кадеты не любили — за бессердечность. Он без всякого сожаления или участия исключал из корпуса тем или другим путем кадет ленивых, строптивых и характерных. Все это знали, исправительные меры были разные наказания и затем удаление из заведения. В нужды кадет он не входил. Зато все наружное было в отличном порядке, а воспитательная среда были сами кадеты и редкие из офицеров, как фон дер Вельде, Чижевич, <отличавшиеся> своей порядочностью <...>. В корпусе между кадетами жили традиции <Екатерининских> времен <...>, которое было как бы золотым веком корпуса, отразившимся на нравственных принципах товарищеского самовоспитания, и это несмотря на грубое и жестокое время, пережитое кадетами при императорах Павле I и Александре I, времени прусской муштры и шпицрутенов, которыми хотя и не угощали кадет, но от них, судя по унаследованным приемам экзекуций — образчик которых мы видели на субботних порках и на бедном Плече, — жестоко доставалось кадетам. <...>

В 1858 году по окончании экзаменов я был переведен в 3-й специальный класс и произведен в старшие унтер-офицеры с шевроном на левом рукаве. Товарищи были произведены в офицеры, а мы в числе восемнадцати оставлены в 3-м специальном классе. Скучно было оставаться, но иначе нельзя было попасть в гвардию. Мы пошли в лагерь.

Лагерь был необыкновенно трудный. Независимо от наших домашних и отрядных учений мы принимали

участие в ночных маневрах обложения, осадных работах и штурме крепости, которые производил великий князь Николай Николаевич в саперном лагере. Кроме того, 3-й специальный класс усиленно занимался глазомерной съемкой <...>.

Ночные маневры очень занимали кадет. Несмотря на утомление, мы с удовольствием принимали в них участие, тем более, что все в них было необычное; а кроме того, будучи с достаточной подготовкой в фортификации, мы, кадеты старших классов, интересовались самым ходом работ. Возвращаясь на заре в лагерь, случалось засыпать на ходу.

Наконец, мы участвовали в традиционном «золотом разводе», который давался от кадетских корпусов, причем 1-й корпус вступал в дворцовый караул и занимал посты.

Боже, сколько требовалось сноровок, чтобы сдать этот развод. Это было целое специальное знание, и мы проделывали множество репетиций. Окончание каждой команды должно было совпадать с известным углом или окном дворца, один лишний шаг, и стройность нарушалась.

Затем затруднение находилось во множестве действующих лиц, так как после развода вступление в караул и смена часовых производились в присутствии государя императора. Ошибись кто-либо в команде или исполнении, и уже не то... чистота должна была быть во всем. А это достигалось лишь твердым знанием.

По окончании развода мы вступили в караул, и часа через два нас сменили, а на память мы получили высочайшую награду по рублю. <...>

Лагерь закончился большим маневром <...>, и мы были отпущены по домам до 1 сентября. <...> Наступил последний год моего пребывания в корпусе.

Курс 3-го специального класса состоял из нескольких добавочных предметов, в зависимости от

избранного отделения. Я пошел по отделению Генерального штаба и должен был в течение зимы сдать четыре сочинения на следующие темы: по истории — «Борьба императора Генриха IV с папой Григорием VII»; по законоведению — «Историческое развитие законодательной власти в России»; по военной истории — «Трехдневный бой под Красным <в 1812 году>»; по литературе — «Влияние Буало на литературу европейских народов». Я выписываю эти громкие темы, чтобы показать, куда могут заноситься педагоги. <...>

Хотя темы в 3 специальном классе, бесспорно, были несообразны с познаниями кадет и слишком обширны, но нельзя сказать, чтобы от них не было пользы. Они заставляли трудиться, много читать, усиленно работать головой и приучали к письменной работе. <...>

Не могу не вспомнить с благодарностью корпус. Учебная часть была поставлена Константином Александровичем Линдером превосходно. Нашими преподавателями в специальных классах были большей частью выдающиеся ученые и деятели, у которых нельзя было не увлечься читаемым ими предметом. <...> Приходилось много трудиться, но в особенности большое напряжение потребовали выпускные экзамены. Всех предметов было 18.

По окончании домашних экзаменов производились публичные испытания, причем к нам в корпус приезжали выпускные из всех военно-учебных заведений. В рекреационных залах заседала комиссия из всех наставников, наблюдателей, членов Ученого комитета военно-учебных заведений, родителей, родственников и посторонних лиц. <...>

Основанием служили баллы домашних экзаменов, так как на публичных вызывали только по несколько человек из заведения, но неудовлетворительная отметка на публичном экзамене могла все испортить.

В особенности свирепствовал на этих экзаменах знаменитый математик Остроградский. Ему ничего не стоило поставить неудовлетворительную отметку, и если он приходил в дурном расположении духа, то резал кадет немилосердно.

Меня вызвали по механике, и мне пришлось вычислять на доске «работу силы пара». Это длиннейшая выкладка на всю доску. Я ее проделал и повернулся к экзаменаторам. Наискось сидел Остроградский.

«У вас результат получился с отрицательным знаком, — обратился он ко мне, — проверьте».

Я посмотрел, нашел ошибку и исправил, чем показал, что делал выкладку сознательно.

Остроградский <...> ничего не промолвил. Так я выскочил, а попадись на математику — думаю, что провалился бы, потому что задачи давал Остроградский на бумаге и ужасно замысловатые, так что редко кто их решал. Вызвали меня и из других предметов, все сходило хорошо. <...> К последнему экзамену из фортификации я даже не посмотрел чертежей; на меня нашла какая-то апатия от постоянного нервного возбуждения в продолжение двух месяцев. Меня не вызвали, и экзаменационная страда кончилась. <...>

15 июня 1859 года я был произведен в лейб-гвардии Уланский полк корнетом.

Воспоминания Д. А. Скалона // Русская старина. 1907. Т. 132. № 11. С. 79-81; 1908. Т. 133. С. 692-70; Т. 134. № 4. С. 185-195.

Н. Н. Фирсов

Новички (отрывки из воспоминаний)

Михайловское артиллерийское училище. 1853-1858 годы

Новиками или новичками назывались в военно-учебных заведениях прошлого <XIX> века воспитанники последнего годового приема; *старичками* же — воспитанники, поступившие по крайней мере годом ранее. Приставанье, то есть разнообразное, более или менее унижительное и тягостное помыкание новичками со стороны «старичков», существовало почти во всех заведениях. Из петербургских особенно славились по этой части Михайловское артиллерийское училище, Николаевское инженерное училище и Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которые мальчики поступали возрастом старше (не моложе 14 лет), чем в кадетские корпуса. Мои воспоминания относятся почти исключительно до Артиллерийского училища, в котором я сам воспитывался в 1850-х годах, а мой отец — в 1830-х.

В нашем училище, как и в прочих заведениях, существовал, словно освященный временем и обычаем, кодекс прав (или, вернее, бесправия) новичков. Кодексы эти отличались между собой некоторыми подробностями, но в основании всех лежали элементы крепостного права, первообраза «новичества».

В училище принимались исключительно дети дворян. Все они росли на крепостном праве, все привыкли к крепостным услугам и забавам. В применении кодекса господствовали: право сильного, запелляционный произвол «старичков», а иногда ничем не оправдываемая безнаказанная жестокость.

Приставание к новичкам многими (в том числе и начальством того времени) оправдывалось тем, что оно приучает юношу, готовящегося к военной службе, переносить разные невзгоды, закаляться и дисциплинирует. Этот мотив породил даже слово *закал*. Так любили величаться юнкера-«старички», выработавшие в себе спартанские, или — как было в моде называть при нас — «запорожские», «казацкие», суровые привычки и «ничего не боящиеся», начиная с наказаний начальством. <...>

Правда, поступая туда, мы имели несколько преувеличенное представление о жестокости «старичков», ибо многие рассказы, слышанные нами, относились до времен прошедших. Я знал, например, от моего отца <...> и от его товарищей, что в их время одна из обычных забав «старичков» заключалась в следующем. Положат новичка между двумя тюфяками, плотно увяжут веревками, так, однако, чтобы он мог дышать, и вывешивают его из окна третьего этажа: то опустят до земли, то подтянут кверху. Иногда это упражнение варьировалось. Вместо тюфяков новичка плотно запихивали, прижав колени к груди, в прочный дубовый табурет и подвешивали в табурете между небом и землей <...>. Это и многое другое я слышал еще в детстве. Но к моему времени такие проказы уже вывелись, и вообще жестокость новичества постепенно ослабевала с течением времени, как ослабевал первообраз его — крепостничество. <...> Юнкера-«старички» <...> были юноши лет 16-17, много 18. Разница лет с вновь поступающими небольшая, но в том возрасте вообще внушительная. <...> Вообще, все власти относились к новичкам гораздо требовательнее, чем к остальным воспитанникам. <...>

Основные обязанности новичка были довольно определены. Исправнейшее выполнение внешних дисциплинарных требований официального, *казенного*

устава. Новички должны были и утром вставать, и вечером ложиться спать в определенное время по повестке. Первыми выходить в сборную залу и становиться в ряды при повестке к столу, классам, ученью и проч., идти всюду строем, хотя бы масса «старичков» валила врассыпную. Внеклассное время все юнкера жили постоянно в спальнях, называемых «камерами»: днем валялись на койках, спали после обеда в изрядном количестве, иногда в одном нижнем белье, приготовляли уроки, устраивали разные забавы; курили в трубу или в каминные умывальных комнат. Новичкам же такие вольности строго воспрещались. Кроме того, они обязаны были с раннего утра до позднего вечера охранять «старичков», чтобы последние не были застигнуты врасплох начальством.

Охранение выполнялось системой часовых. <...> Места для часовых были избраны едва ли не с самого основания училища и располагались в разных закоулках, так что когда появится дежурный офицер из своей комнаты или из внешних зал, когда приближается высшая начальственная особа, то аванпостный часовой снимается с своего места с особым звуком, *ссыканьем*, обегает свой район, предупреждает об опасности. Следующий часовой подхватывает и бежит по своему району. В две-три минуты бывали оповещены самые отдаленные камеры, и все беспорядки по возможности сокрыты. <...> Главный же долг всякого новичка заключался в повиновении всякому «старичку», причем, однако, старички высших классов имели наибольшие права на произвол. <...>

Места для спанья новичкам отводились самым начальством наименее удобные — койки на угловых и проходных пунктах: кто идет, тот щипнет. Иногда после полуночи старички, которым не спалось, бродя по спальням, мимоходом сбрасывали новичка на пол, стащив его с койки вместе с тюфяком; или подхватив

койку за передние ножки, ставили ее вертикально к стене, так что голова мальчика приходилась внизу. Иногда новичка внезапно будили и с угрожающим видом задавали какой-нибудь глупый вопрос, вроде: «Есть ли у вашей бабушки чепчик с оранжевыми лентами?» Или заставляли декламировать бессмысленные прозу и стихи, неизвестно когда и кем сочиненные, на темы: «Влияние луны на починку табуретки» или «Применение дифференциалов к печению блинов» и т. п. Эту классическую чепуху новички были обязаны знать наизусть. Случалось, впрочем, исключительно в двух взводах, помещавшихся в верхнем этаже, отдаленных от комнаты старшего дежурного офицера, что всех новиков поголовно будили глубокой ночью и *учиняли* какую-нибудь потеху, например развод с церемонией.

Утро приносило новые заботы и невзгоды. Прогремит на площадке, за пустынными отзывчивыми залами, барабанная дробь повестки; сонный служитель, принесший вычищенное платье и сапоги, разбудит новичка — легонько, почти нежно. Служители-солдаты, состоявшие на разных должностях при училище (которым сами воспитанники платили жалованье по 3 руб. в месяц), жалели обыкновенно новичков.

Все «старички» кругом спят, словно никакого барабанного грохоту не проносилось. Темно еще; мигая и чадая, догорают ночники — маленькие стенные лампочки с жестяными абажурами, повернутыми широкими основаниями к потолку. Холодно; за ночь камеры выстыли. Новик спеша натягивает носки, нижнее белье, сапоги, накидывает на плечи старенькую шинель (в известной степени исправляющую у всех юнкеров должность халата ранним утром и добавочного одеяла ночью), забирает из своего столика мыло, полотенце и отправляется в умывальную — большую,

просторную, опрятную комнату с камином; там еще холоднее.

Совсем темно. Ночник погас. Новички полощутся студеной водой, звякая кранами, брызгаются, не могут не шалить, но стараются не шуметь. Это единственное время и место, когда они вне наблюдения своего стоокого властителя. Но долго не нашалются. Опять грохнет барабан, рассыпаясь дробью и перебегая эхом в пустых коридорах; замрет на несколько секунд и затрещит еще бешенее, силясь выразить какой-то намек на мотив. Заря! Надо стоять на своих местах у коек (кроватей). Дежурный офицер заспанный, нечесаный, обегает камеры. «Вставайте, господа, вставайте!» — покрикивает он негромко, оберегая сон счастливых «старичков». <...> Обойдя последний взвод, офицер через две минуты сам дремлет в большом кожаном кресле, в своей узенькой комнате, в чаду нагоревшей за ночь масляной лампы.

Новички в спальнях уже совсем одеты, но тоже дремлют, нахохлившись, сидя на койках, кутаясь в старые шинельки.

Зажечь свечу, разговаривать между собой в камерах опасно. «Старички», бесчувственные к барабану, бесчувственные к офицерскому «вставайте», имеют свойство, как нарочно, пробуждаться от шороха, производимого новичком. Того и гляди кто-нибудь запустит в неосторожного сапогом, а не то табуретом или пообещает нагаек. Если новичку надо утром рано готовить уроки, то он на это должен накануне вечером испросить разрешение кого-либо из старших.

Мало-помалу все училище начинает просыпаться. Дежурный офицер, вторично очнувшийся и немножко приглаженный, обегает камеры, на этот раз предшествуемый *ссыканьем* тоже оббегающих камеры перед самым его носом часовых. Это пронзительное шипенье и ссыканье офицер как будто игнорирует.

Возглас его: «Вставайте, господа!» — идет crescendo. На ходу он теребит ноги спящих юнкеров-«старичков» младших возрастов, редко беспокоя первый и второй классы. Дежурный по училищу портупей-юнкер, единственный поднявшийся рано первоклассник, в тяжелой казенной каске с медным сиянием во весь лоб, с тяжелым черным султаном, в белой портупее нагрудь, отпрапоровав офицеру о «благополучном обстоянии», идет за ним и тоже расшевеливает младшие классы.

Часто и этот дежурный портупей-юнкер облачается в свою форму, не успев умыться, второпях забыв надеть портупею или застегнуть чешуи каски. Из этого иногда выходили анекдоты. Например, заспавшийся портупей-юнкер М-ий явился рапоровать офицеру без портупеи и каски и на замечание капитана М-ого оправдывался тем, что не успел одеться. «Чего другого можете не успеть, а каска и тесак необходимая принадлежность дежурного, всегда должны быть на вас», — хрипел недоспавший, болезненно раздражительный, но очень добрый офицер. «Слушаю, г-н капитан», — покорно отвечал повеса. В следующем своем дежурстве, совпавшем с дежурством того же офицера, при первом его обходе поутру М-ий явился в костюме Адама (оправдываясь тем, что переменял рубашку и не успел одеться), но зато при портупее и каске, эмблемах дежурного и наказан не был.

После второго офицерского обхода в спальнях на новичков является большой спрос: «Подайте мне платье»; «Принесите стакан воды»... Двери умывальных комнат хлопают непрерывно. Около обширных умывальников толчется толпа в нижнем белье или шинелях внакидку. Краны звенят, вода журчит, льется и брызжет. У камина с постоянно открытой трубой уже курят несколько человек. Опять крики: «Эй, новик!

Спичку!»; «Принесите мне полотенце, я забыл в столе»; «Дайте вашего мыла, у меня все вышло».

В камерах солдаты-служители проворно застилают покинутые койки; поднимают шторы; в окна наползает серый полусвет. Дежурный офицер обегает еще раз, поспешно взывая, умолая: «Вставайте же, господа! Пожалуйста, вставайте! Батарейный командир сейчас придет». Теперь он уже решается дотрагиваться и до заспавшихся первоклассников; теребит их за ножные пальцы. Случалось, что на койку, с которой юнкер уже встал, под одеяло клали чучело, укутав ему голову в простыню. Конечно, офицер не мог его добудиться, в самую критическую минуту, когда в рекреационной зале уже звенели шпоры батарейного командира, сдергивал одеяло и только тогда усматривал, что его одурачили. Бывало и хуже. Пользуясь утренним сумраком, протягивали между ножками двух железных кроватей поперек прохода веревку; тогда поспешно обходящий камеры офицер спотыкался и иногда падал на паркет.

В тридцатых же годах, при моем отце, одному офицеру, имевшему привычку на дежурстве напиваться, придирается к юнкерами, а потом спать мертвецким сном, шалуны обрезают ножницами одну половину усов и одну фалду мундира. Спросонья и похмелья он не заметил изъяна и явился в этом виде к обходившему спальни батарейному командиру.

Часовой новичок, охраняющий преддверие, вход в 1-й взвод, завидя в глубине рекреационной залы медленно движущуюся <...> фигуру батарейного командира <...>, схватывает свой табурет, книги и, *ссыкая* неистовее обыкновенного, обегает свой район. *Ссыканье* передается следующему часовому, охраняющему из караульной залы 2-й взвод, подхватывается на лестнице часовыми остальных и разносится по всем спальням. Сам офицер, пользуясь

этим противозаконным сигналом, поспекает встретить полковника на пороге камер. Слава Богу, что командиру нужно выслушать несколько рапортов, ибо в камерах осталось еще несколько заспавшихся «старичков»; они, стремглав, в одних рубахах, босиком спасаются в ватерклозет. А новички швыряют за ними одежду.

Полковник торжественно обходит камеры; везде царит порядок, тишина. Он знает, что половина юнкеров еще не одета, что они теперь курят в умывальной комнате; он слышит *ссыканье*; но он все это игнорирует и движется вперед как можно медленнее, чтобы не быть поставленным в явную необходимость замечать беспорядок и взыскивать за него.

Хлеба насущного, конечно, никто у новичка не отнимал; но и самый хлеб насущный, в некотором смысле, подчас напоминал об уничтожении. В столовой по обеим сторонам продольного прохода столы были расставлены в два ряда. Во время обеда и ужина за каждым столом сидело одиннадцать человек; во главе портупей-юнкер на хозяйском месте. Миски и блюда ставились перед ним; он и его ближайшее соседи, обыкновенно воспитанники 1-го и 2-го (высших) классов, брали себе львиную часть. Только наименее вкусные остатки доставались сидящим на крайних местах новичкам. Даже серебряная, внутри позолоченная стопа (большая кружка) с выгравированным на ней учебным сиянием — свет науки, — случалось, доходила до них опорожненная, без квасу, которым славилось училище. Приказать же служителю принести квасу новичок не всегда решался. Ему самому отдавалось столько приказаний, что он сомневался — особенно в первое время: осталось ли за ним право приказывать хотя бы служителю.

Особенно обидно было новичкам в те дни, когда подавали за ужином щи вместо пирогов. Кроме щей подавалась еще отличная гречневая каша. Щи и каша

сами по себе хороши. Но каша представляла особенное удовольствие. Давали ее вволю — и напитаешься в плотную, и можно запастись ею, набить ею стаканы, снести в спальню, спрятать в столик у кровати и наесться на другой день вместо завтрака. Однако этого новичкам не удавалось.

Между тем каша в полдень была особенно приятна, ибо с основания училища по 1855 год (когда пища и вообще содержание значительно улучшились), после утренних и вечерних классов предлагался только черный хлеб. Возвращаясь из классов в камеры, юнкера находили на определённом окне каждого взвода большую корзину с нарезанными ломтями черного хлеба и солонку соли. Хлеб был всегда свежий, очень вкусный; особенно корки: нижняя сильно мучнистая, верхняя глянцевидная, хрустящая; и между ними аппетитная *ерошка*. Молодежь веселой россыпью вбегала в камеры, кидалась к окну; в одну минуту расхватывала ломти хлеба; рассыпалась соль... Новички, конечно, были в арьергарде, толкаться не смели; на их долю оставались пустые, опрокинутые корзины, пустые солонки и куски мякиша. А тут еще какой-нибудь запоздавший «старичок» орет: «Новик, достаньте мне горбушку!» <...>

Между обедом и вечерними классами новичкам было довольно спокойно. Редко кому-нибудь из старших кадет придет охота позабавиться. Например, прибежит первоклассник с ученья и кликнет клич: «Эй, новики, тройку мне, да чтобы переменные на станциях были. Б-в в корень!»

Новички, до коих достигал клич, обращаются в лошадей. Прочный дубовый табурет кладется боком на пол; «закал» садится на него; ему дают в руки четыре свитых жгутами тиковых чехла, сташенных с коек (кроватьей). Чехлы означают вожжи и постромки. Тройка новичков, излюбленный Б-в корню, впрягается в эту

упряжь и мчит, что есть духу, по гладкому паркету вдоль длинной анфилады. Барин гикает; лошади фыркают и ржут. Мальчики увлекаются. «Береги-ись!» Все сторонятся. Первая тройка запыхается, покраснеет, — является другая «со станции»; и опять: «Береги-ись!» Случается, что не один, а несколько «старичков» раззадорятся, и устраивается весьма оживленное катанье на перегонку. <...> Вечером дело становилось серьезнее <...>.

Классные залы тогда запирались. Особых зал для занятий не существовало, в мрачную рекреационную никому в голову не приходило ходить развлекаться или готовить уроки, так что вся жизнь от вечерних классов до ужина и от ужина до утра сосредотачивалась в камерах. Там было светло, тепло, уютно, людно; вообще располагало к игривости. Масляные лампы, правда, освещали не ярко, но зато на каждом столе горело по свечке. Для занятий всем юнкерам раздавались стеариновые свечи и подсвечники. Иногда, раза два-три за зиму, по инициативе какого-нибудь затейника, «старичка», желавшего праздновать свои именины, какую-нибудь занимательную или просто фантастическую годовщину, устраивалась настоящая иллюминация целого взвода. Развешивались китайские фонари, разрисованные транспаранты с приличествующими случаю надписями, эмблемами и карикатурами. Все это расставлялось по столам, окнам, углам. Выходило красиво и забавно. Транспаранты и фонари заготавливались заблаговременно (многие юнкера хорошо рисовали).

Но благодаря обильному содействию новичков, самая иллюминация в данный благоприятный момент словно из земли вырастала, а в случае приближения начальства мгновенно, так же искусно, бесследно исчезала. А как только начальство удалялось, все опять появлялось в несколько минут.

Главные же потехи с новичками происходили поздно вечером перед ужином и особенно после него. Иногда, возвращаясь из вечерних классов, некоторые «старички» заводили потехи, но кратковременные. Например, въезжали в камеры верхом на новичках, с правой ноги галопом. Или приказывали просто нести себя на руках, как римского триумфатора, а не то вразвалку, как пьяных носят. <...>

Вечером новичку приходилось часто по воле «старичков» отрываться от приготовления уроков для досадного вздора, рисковать завтра получить плохой балл. То чеши кому-нибудь спину, то рассказывай сказки, как старая няня, покуда тот дремлет; то скоморошничай, как ученая обезьяна. <...> Еще было хуже, если какой-нибудь «старичок» пошлет новичка, например, передать другому «старичку» грубость, ругательство или вообще что-нибудь неприятное. Посол рискует быть вздутым, если исполнит поручение, получателем, а если не исполнит, то посылавшим.

Между «старичками» было немало художественных артистических натур. При мне, в 1853–1858 годах, было несколько завязых меломанов, любителей, певцов. <...> Были юноши, хорошо понимавшие и исполнявшие музыку на фортепьяно, скрипке, виолончели. По субботам брали в складчину ложу в третьем ярусе Большого театра и наслаждались оперой; в Великом посту посещали концерты. <...> Эти артистические натуры редко приставали к новичкам; но они ими пользовались для удовлетворения своих художественных вкусов. Устраивали в училище концерты, хоровое пение, разыгрывали сцены из любимых опер, иногда в костюмах сами, иногда при исключительном участии новичков^[32]. <...>

Надо заметить, что, невзирая на рабское положение, в которое неписаный кодекс ставил

каждого новичка, этот же кодекс (довольно непоследовательно, правда) ограждал некоторые его права. <...> Пощечины никто новичку дать не мог. «Старичок» также, ни в каком случае, не имел права вводить новичка в расходы, как это делалось, говорят, в некоторых других заведениях.

Если какой-нибудь «старичок» требовал от новичка хотя бы папиросу (которую все-таки нужно было купить), то он делал это исподтишка. Если другие «старички» узнавали, то подвергали своего товарища строгому порицанию; иной раз «семейному», так сказать, наказанию: запрут в своем классе и вздуют.

Это правило тесно связано с одной из прекраснейших черт Артиллерийского училища. Там господствовало полнейшее отсутствие всякого различия, в смысле товарищеских отношений, между богатыми и бедными, между детьми важных, знатных фамилий и сыновьями скромнейших провинциальных помещиков. В этом смысле товарищество устанавливалось тотчас же по вступлении в заведение и закреплялось на всю жизнь.

Это, может быть, одна из причин существования во всей русской артиллерии отменного товарищеского духа, которым артиллеристы справедливо гордились...

Фирсов Н. Новички. (Из воспоминаний о Михайловском артиллерийском училище пятидесятих годов прошлого века) // Русская старина. 1903. Т. 116. № 10. С. 43-63.

Н. Дьяконов (?)

Производство в офицеры

Школа гвардейских

подпрапорщиков и юнкеров. 1858

год

В мае месяце 1858 года воспитанники военно-учебных заведений готовились к царскому смотру, образуя из себя отряд, командование которым было вверено директору 2-го кадетского корпуса генералу Степанову. Отряд состоял из 6 батальонов, батареи Михайловского артиллерийского училища и эскадрона Школы кавалерийских юнкеров.

В день высочайшего смотра отряд выстроился на Марсовом поле и по принятому порядку, после встречи государю, проделал все ружейные приемы под общую команду начальника отряда, произвел построения и хождения в колоннах и каре и уже готовился к церемониальному маршу, как произошло нечто необычайное: пока пехота строилась к церемониальному маршу, государь производил, по обыкновению, смотры училищам — сперва Артиллерийскому, а затем Кавалерийскому, и вдруг, неожиданно, по окончании смотра последнему, вызвал выпускных юнкеров и поздравил их с производством в офицеры, а это предвещало, что выпускные воспитанники других бывших на смотре заведений отставлены от производства, так как обыкновенно царские слова: «Выпускные, ко мне», — произносились после церемониального марша и относились ко всем выпускным.

Недоумевая, чем заслужили немилость государя, мы все еще надеялись, что не уйдем с поля без

производства. Но увы! По отъезде государя, вслед за прохождением отряда церемониальным маршем, нам было объявлено ближайшим начальством, что причиной отставления от выпуска было неудовольствие государя смотром пехоты и артиллерии нашего отряда и что смотр будет произведен вторично, по возвращении государя из-за границы, исключительно выпускным воспитанникам, из которых было повелено составить отдельный батальон. Настоящую же причину отставления от производства в офицеры, как мы узнали впоследствии, было недовольство государя за бывшие в последний год крупные шалости почти во всех заведениях, а в Дворянском полку было обнаружено чтение воспитанниками запрещенного журнала <А. И.> Герцена «Колокол». Вот почему, когда благороднейший генерал Степанов со слезами на глазах просил государя не наказывать воспитанников, так как если они дурно представились на смотре, то виноват он, начальник отряда, не сумевший обучить отряд, государь успокоил генерала, сказав: «Ты не виноват. Я вообще недоволен воспитанниками военно-учебных заведений».

Наша Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров ни в стенах, ни вне стен заведений ни в чем не была повинна или, как говорилось, не имела историй, а следовательно, выпускные пехотного отделения ее пострадали только потому, что находились в строю с другими заведениями, товарищи же подпрапорщиков школы — кавалеристы, представлявшиеся на смотре отдельно, как сказано выше, были произведены.

Ободренные своим начальством, отставленные от выпуска подпрапорщики вместе с младшими воспитанниками вернулись в школу в строевом порядке и тогда только были распущены к родным, с которыми спешили поделиться горем. А уж точно отставление от выпуска, хотя всего на один месяц, было для нас горем.

Давно, чуть ли ни за полгода, были сосчитаны дни, которые надлежало провести в стенах заведения, а с назначением смотра были сосчитаны даже часы до момента, когда услышатся радостные царские слова: «Выпускные, ко мне», за которыми питомцы военно-учебных заведений почувствуют себя впервые свободными, и сколько прелестей сулила эта свобода! Сколько радости представляло облечься в офицерскую форму и показаться свету!

Переодевание сопровождалось обыкновенно некоторою торжественностью. На квартире одного из выпускных собирался кружок наиболее сдружившихся товарищей; туда же приходили школьные лакеи, большинство коих были крепостные. Приглашались обучавшие подпрапорщиков фронту унтер-офицеры гвардейских полков.

Родные мои были на даче, и в свободную городскую квартиру их я пригласил одеваться пятерых товарищей. На звонок в квартире высыпали ко мне навстречу все ожидавшие с нетерпением лакеи и унтер-офицеры. При виде меня одного без товарищей и смущенного широкие улыбки их застыли и приготовленные поздравления замерли. В волнении я мог только произнести: «Мы отставлены от производства». Добрые слуги не хотели сперва этому верить, а по сообщении подробностей смотра начали апатично собирать развешанные на стульях офицерские платья и расходиться к своим господам.

Отправился и я к родным на дачу. Там, конечно, отнеслись участливо, но я не мог побороть в себе грусть, и неудивительно — это была первая неудача, и притом на рубеже к самостоятельной жизни.

Считая виновными кадетские корпуса, с которыми у подпрапорщиков нашей школы всегда был некоторый антагонизм, мы окончательно озлобились на них, и злоба наша разжигалась еще более тем, что

произведенные из юнкеров эскадрона товарищи весело разъезжали на лихачах и при встрече мы еще должны были им козырять. Отдавание чести было введено в принцип нашей школы, и директор ее А. Н. Сутгоф, отпуская на праздники к родным, постоянно напоминал, чтобы мы всегда были опрятно одеты, вежливы и отдавали бы должную честь.

По прошествии трех дней, данных выпускным для отдыха, начались ежедневные хождения их на плац 1-го кадетского корпуса и батальонные учения под сильно припекавшими лучами солнца. Ходить нам было далеко, и внимательное начальство побаловало нас, разрешив ездить на ученья в каретах со спущенными шторами. Садясь в кареты в полной амуниции и с ружьями, мы выходили за углом кадетского корпуса, дабы не возбуждать зависть кадет, и следовали строем на плац, где составляли вперемешку с пажами первый взвод 1-й роты батальона. Руководителем занятий батальона был назначен государем начальник Школы подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров генерал Сутгоф, а командиром батальона — ротный командир той же школы полковник Нобель.

Собственно говоря, учить нас было нечему, все выпускные воспитанники были фронтовики; нужно было только сколотить батальон, то есть урегулировать шаг да подтянуть офицеров, которые в то время в кадетских корпусах не отличались молодцеватостью и устав знали плохо. Ну уж зато генерал Сутгоф пробирал же их беспощадно. Вскоре вместо них поставили командовать взводами фельдфебелей из выпускных воспитанников, и батальон стал ходить еще стройнее.

Ежедневно в течение июня производились ученья, а 30 июня, на другой или третий день по возвращении государя из-за границы, был назначен смотр батальону в Петергофе. В назначенный час батальон выстроился на плацу кадетского лагеря. После получасового

ожидания раздалась команда для встречи государя. Командир батальона лихо отрапортовал, и государь, поздоровавшись и проехав по рядам сумрачно, приказал начать ученье. Как на первом смотре, мы проделали ружейные приемы, но только что повернулись для построения колонны справа, как раздалась царская команда: «Отставить». Весь батальон помертвел, думали: опять неудача, но генерал Сутгоф тотчас подъехал к батальону и передал приказание заменить взводных офицеров фельдфебелями, под командою которых и окончился смотр благополучно.

В этот раз уже никто не готовился к торжественному облачению в офицерскую форму, и выпущенные, даже не снабженные против обыкновения приказами о их производстве, поспешили на пароход, а по прибытии в Петербург разъехались по домам, не условившись сойтись вечером где-нибудь на островах, как это в прежние годы делалось вновь произведенными.

Облекшись в городской квартире в офицерскую форму, я уехал на дачу, где и проводил время до явки в полк...

Н.Д. Производство в офицеры в 1858 году // Русская старина. 1909. Т. 139. № 9. С. 553-556.

С. фон Дерфельден Из «Воспоминаний старого кадета» Михайловский Воронежский кадетский корпус. Вторая половина 1850-х — начало 1860-х годов

Был конец лета 1855 года, по грунтовой дороге из Тамбова в Воронеж тянулся обоз, или транспорт, в числе нескольких десятков повозок. В передней сидел офицер в сюртуке военно-учебных заведений, а из-под циновок выглядывали веселые и любопытные личики кадет самого маленького возраста — детского. В одной из повозок помещались врач и фельдшер. Это везли из малолетнего Тамбовского корпуса партию кадет для поступления в Воронежский кадетский корпус.

Ехали тихо. Делали привалы для ночлегов, заранее намеченных по маршруту; но делали частые остановки и днем для обеда, чаепития и чтобы дать отдохнуть от жары лошадям. Офицер был очевидно доволен своей командировкой и к тому же, как и сопровождавший транспорт доктор, был любитель природы. Поэтому он почти не пропускал по дороге ни одного тенистого, укромного места, изобиловавшего водой, чтобы не устроить привала с неизбежным чаепитием и закуской. Кадетики были в восторге от каждой остановки. Веселой шумной гурьбой высыпали из кибиток, затевали игры и прыгали от удовольствия. В одной кибитке помещалось четыре мальчика, и по свойству детей каждый в своем уголке устраивался по-домашнему.

В мешочках из рогожи, устроенных в уголках повозок, помещалось все походное хозяйство кадетика. Там были булки, бублики, купленные по пути на

сельском базаре, конфекты, припасенные еще в Тамбове, и там же прятались и детские игрушки.

Некоторые из кадет оказались обладателями какой-нибудь галки, голубя, щенка-дворняжки и даже котенка, неведомыми способами приобретенного в пути. Весь этот живой инвентарь растеривался, конечно, по пути, но появлялись новые экземпляры.

На ночлегах кадет помещали в обширном сарае; расстилали солому или сено, накрывали кошмами и укладывали детей. Случалось до обеда остановиться около села в какой-нибудь роще. Солдаты вытаскивали из задних повозок медные котлы, разводили костры, варили борщ, кашу, к которой офицеры покупали в ближайшем селе молока, и устраивался импровизированный пикник. Такое путешествие очень нравилось детям.

В Тамбовском корпусе, как малолетнем, дисциплина не очень строго поддерживалась, а теперь, в этой поездке, которая как для кадет, так и сопровождавшего их начальства казалась увеселительной, — кадет совсем не донимали строгими требованиями. Поэтому они рады были тому, что путешествие тянется долго, и искренно желали его продлить.

Однако же стали поговаривать, что до Воронежа уже недалеко. Вдали показались церкви и колокольни большого города; въехали в предместье. Потянулись сначала немощенные, пыльные улицы. Сильно пахло яблоками и всюду, где только было возможно, были навалены груды фруктов. Затем пошли лучшие, мощеные улицы с разными вывесками; всюду шел усиленный ремонт зданий; каменщики и штукатуры были видны чуть не на каждом доме и сопровождали свою работу звонкими песнями. Показался широкий плац, окруженный аллеей, обсаженный деревьями, и кадеты увидели огромное желтое здание

Михайловского Воронежского кадетского корпуса, в стенах которого им предстояло прожить несколько лет.

Оказалось, что воронежские кадеты еще не возвратились из лагеря, и в залах, спальнях и коридорах корпусного здания царила полная пустота. Всюду пахло свежей краской после только что оконченного ремонта. В пустых комнатах гулко раздавалось каждое сказанное слово и шаги вновь прибывших детей. Их поместили в младшую роту и стали ожидать прихода батальона из лагеря.

Через несколько дней в послеобеденное время раздались звуки барабанов и рожков, и на кадетский плац перед зданием корпуса вступил батальон кадет со знаменем, в полной походной форме, то есть в касках без султанов, в ранцах и с ружьями. Прибывших из Тамбова кадет поразила и заинтересовала эта военная обстановка, так как в малолетнем Тамбовском корпусе таковой не было, кадеты ходили только в фуражках и даже не имели тесаков. С истинным любопытством смотрели они во время молебствия по случаю благополучного возвращения из лагеря на всю торжественную обстановку молебна и на относ знамен в квартиру директора корпуса.

Воронежцы узнали, конечно, о прибытии тамбовцев, и явилось много желающих посмотреть на вновь прибывших. Старшие роты производили свой осмотр, с олимпийским величием посматривая на тамбовцев. Младшая же рота, куда поступили новички, принялась за обычную дрессировку, то есть за всякие поддразнивания, задиранья, а часто и обиды. Мальчики все это терпели и ежились.

На другой день рота была выстроена в зале, и собрались все ротные офицеры.

По тем приемам, с которыми ротный командир и офицеры выстраивали и ровняли роту, прибывшие из Тамбова кадеты сразу смекнули, что они должны

забыть снисходительное отношение к ним бывших их тамбовских воспитателей и что наступило время настоящей муштровки. Когда рота была готова, прибыл директор корпуса генерал Винтулов. Это был пожилой генерал, сутуловатый, с коротко стриженными волосами на голове, на которой только оставлен был небольшой хохол и височки, энергично зачесанные кверху. Генерал был совсем седой. Подстриженные седые усы торчали над верхней губой очень крупного рта. Над мрачными глазами светились густые седые брови. От всей наружности директора веяло суровостью и холодом. Поздоровавшись с ротой, он приказал новобранцам выступить из фронта вперед и обратился к ним со следующими словами: «Ну-с, вы должны забыть все порядки Тамбовского корпуса. Помните, что вы теперь не дети, а кадеты и что от вас будут требовать прилежания в науках и безупречного поведения. Я шутить не люблю! За всякую провинность я строго наказываю. За леность и дурное поведение у нас секут-с, если увещевания не помогают. Прошу это зарубить у себя на носу!»

Все это было сказано строго, внушительно, причем говоривший иногда грозил пальцем. Винтулов был, очевидно, глубоко убежденным сторонником пользы телесного наказания. Он применял его не только за леность и дурное поведение, но и в тех случаях, когда этого уж никак нельзя было ожидать... Был такой случай. Директор пожелал щегольнуть перед городскими властями и знакомыми игрой кадет на сцене и устроил кадетский спектакль под личным своим руководством. Приготовлена была пьеса «Воздушные замки» — какой-то водевиль с пением, и наконец двое кадет должны были протанцевать русскую пляску. Для этой пляски выбрал директор очень хорошенького кадета, и все шло благополучно до самого кануна спектакля. Накануне же спектакля к генеральной

репетиции принесли приготовленный для русской пляски костюм, и вдруг С. заявил, что ни за что не наденет женского сарафана... Никакие увещевания не действовали. Наконец, доложили генералу об этом неожиданном казусе.

«Выпороть!» — приказал директор.

Бедную русскую красавицу высекли, и на другой день она в красивом сарафане отплясывала свой танец; но, несмотря на белила и румяна, все ясно замечали на ее голубых глазах обильные слезы...

Но надо отдать справедливость Винтулову: он очень заботился о том, чтобы дети были и одеты хорошо, и сытно накормлены. Редкий день не проходил без того, чтобы Винтулов не посетил столовую кадет во время обеда и ужина. Он обязательно пробовал пищу и требовал от эконома безупречной чистоты в ее приготовлении. Страшная головомойка ожидала эконома каждый раз, когда директор оставался чем-нибудь недоволен. Не обходилось и без курьезов. Однажды вышел такой случай: пришел в столовую Винтулов в то время, когда кадетам подавали гречневую кашу. Внимательно разглядывая одну из мисок, директор вдруг увидел сваренного черного таракана. Извлеки его из каши и держа двумя пальцами, генерал позвал эконома.

Предвидя беду, эконом мелкой рысцей подбежал к генералу и вытянулся.

«Это что?» — мрачно спросил генерал, держа перед носом эконома злосчастного таракана.

«Надо полагать, что в кашу нечаянно попал изюм, ваше превосходительство».

«Изюм?»

«Так точно, ваше превосходительство».

«Ешь!» — тихо и спокойно проговорил генерал.

И бедный эконом покорно проглотил таракана.

«Изюм?» — продолжал невозмутимо допрашивать директор, не сводя своего взгляда с эконома.

«Так точно, изюм, ваше превосходительство...»

«Свинья!» — сквозь зубы процедил директор и отвернулся. <...>

Со смертью Винтулова в корпусе настало какое-то междуцарствие. Офицеры и наставники, руководимые до того времени твердой волей директора, словно растерялись и не знали, как держать себя с кадетами, то есть преследовать ли прежнюю строгую систему или же держать бразды послабее.

Временно обязанности директора исполнял батальонный командир, но какого-нибудь, хотя бы малейшего влияния его на офицеров и воспитателей совершенно не было заметно. Он даже редко появлялся в рекреационных залах, а еще менее посещал классы.

Затем из Тамбова приехал директор тамошнего корпуса полковник Пташник, которого мы все хорошо знали и любили. Он был командирован для временного исполнения обязанности директора Воронежского корпуса. Сам Пташник, да и все решительно сознавали, что он «калиф на час», потому и он не заводил новых порядков и не поддерживал старых, да и все относились к нему так безразлично, точно не замечали его существования.

Пташник хотя был небольшого роста, но красивый и представительный мужчина. Тщательно причесанный, с выхоленными усами, одетый всегда щеголевато, он часто появлялся перед кадетами и торжественно проходил по залам, заложив левую руку за спину, а правую — за борт сюртука. Кадеты почтительно вставали, отвешивали поклоны и с уходом Пташника забывали об его существовании.

Странное настроение господствовало как между начальством, так и между кадетами. Начальство, лишенное твердого, сурового руководителя, от

которого частенько получалась головомойка и, во всяком случае, железная рука которого постоянно заставляла себя чувствовать, как бы ощутив облегчение, совсем иначе стало держать себя с кадетами и довольно слабо поддерживало свой престиж. Кадеты же, почувствовав опущенные поводья, не привыкшие разумно и сдержанно относиться к свободе, мало-помалу стали позволять себе совсем уже излишние вольности и зачастую, что называется, просто закусывали удила... Стали проявляться злые, дерзкие шалости... Во всем корпусном обиходе стала заметна распушенность и развинченность.

Между тем наступали 60-е годы. В литературе, в обществе начали раздаваться модные, либеральные словечки; пошли всюду толки о гуманных реформах. Все это проникало в кадетскую среду, и, само собою разумеется, не много юношей разумно относилось ко всем этим заманчивым новым веяниям. Всякая блестящая либеральная фраза подхватывалась налету, и все, что только носило на себе печать новизны, бесконтрольно принималось на веру.

Прежний порядок жизни критиковался без снисхождения и признавался ни к чему не годным. Все, что прежде было хорошего, подвергалось безусловному порицанию, а все, навеянное вновь, находило себе почву в умах юношества, почву зыбкую, ненадежную, а потому и опасную.

Не одни кадеты подчинялись и увлекались новыми влияниями. Многие из начальства начали, как между собой, так и в присутствии кадет, говорить весьма свободно о многих предметах, о чем некоторое время тому назад не смели бы и подумать. Кадетам позволили читать решительно все, и так как печать того времени отличалась резкостью, то естественно, эти же недостатки отразились и на взглядах читающих юношей. Кадеты жадно набросились на чтение. Однако

же не многие из них увлекались беллетристикой, зато критические статьи, а в особенности публицистические — прочитывались с захватывающим интересом. Этот интерес к литературе и общественной жизни повлек за собой сборища наиболее рьяных чтецов, их дебаты о всевозможных вопросах и, наконец, выразился в том, что кучкой молодежи стал издаваться свой журнал, конечно, рукописный. Но Боже мой, какой сумбур по большей части представляли из себя эти литературные дебаты и этот доморощенный журнал!

Корпусное начальство стало беспокоиться не на шутку, видя неудержимое увлечение кадет, сопровождавшееся открытым неповиновением.

При таких условиях приехал вновь назначенный директор корпуса генерал Броневский. Это был красивый, высокого роста человек, совсем еще не старый. Седины не было заметно ни на голове, ни в усах. Броневский отличился на Кавказе и под Баш-Кадыкларом был так ранен в левую руку, что ее пришлось ампутировать до самого плеча. Левый рукав его сюртука был всегда пристегнут к пуговице на груди. При щеголеватом, бодром виде молодого генерала, при его энергичной походке, свежем цвете моложавого лица отсутствие левой руки производило необыкновенный эффект, тем более что все знали, что отсутствие руки есть следствие геройского подвига. В движениях и разговорах Броневского была заметна сильная нервозность. Говорили, что это было следствие тяжелой операции, повлекшей за собой продолжительную болезнь.

При первом же обходе фронта кадет приветливый, открытый облик Броневского привлек к нему сердца всех кадет, чему немало способствовал престиж отличившегося на поле брани храброго воина. Сам же Броневский с места обратил внимание на то, что кадеты выглядели хмуро и неприветливо. Он это тут же

высказал, заметив, что он еще ничего неприятного кадетам не мог сделать, а между тем он видит перед собой взгляды едва ли не явного недоброжелательства. Кроме того, он тогда же заметил, что на внешний вид воспитанники не обращают должного внимания и что он требует, чтобы кадеты были причесаны не только тщательно, но даже щеголевато. Обходя потом роты, он на это обращал особое внимание и всячески поощрял франтоватость. По-видимому, Броневский пришелся по душе не только кадетам, но и преподавателям.

Между тем в среде кадет стали глубже и глубже проникать ложные передовые идеи. Наступившие 60-е годы ознаменовались начинавшимся брожением в Польше. Неизвестно, какими путями и между кадетами слышались трескучие фразы о несчастных страдальцах Польши!.. Начались дерзкие выходки против ближайшего начальства. По-видимому, всякий авторитет учителей и офицеров был поколеблен, и кадеты, не ограничиваясь критическим отношением к своим воспитателям и преподавателям, стали явно, чуть не в глаза издеваться над ними. Начальство терялось все более и более. Дошло до того, что на стеклах окон и дверей и на стенах стали появляться надписи: «Liberté, égalité, fraternité»^[33].

Распушенность кадет росла не по дням, а по часам. Кое-кто из более решительных офицеров и учителей обратился наконец к директору корпуса, указывая ему на пагубные явления среди кадет и прося его принять меры к обузданию развивающейся распушенности и заявляя, что они лишены возможности сладить с воспитанниками. Броневский хотя и встревожился, но старался успокоить воспитателей, говоря, что выходки кадет чисто детские, мальчишеские. Наконец, случилось происшествие, которое произвело смятение между воспитателями и воспитанниками.

Однажды во время ужина в общей столовой кадет, наказанный за что-то дежурным офицером, то есть поставленный во время ужина к барабану, схватил горсть каши из миски, которую проносил слугитель. Дежурный офицер напустился на кадета за эту выходку... Но едва он успел произнести несколько слов, как наказанный позволил себе такое оскорбление, какого нельзя было и ожидать и какое не было слыхано в стенах корпуса!.. Весь батальон, как один человек, ахнул от ужаса, но тотчас все замерли... Каждый сознавал, что случилось ужасное происшествие, долженствовавшее повлечь за собой страшные последствия.

Оскорбивший офицера кадет был жестоко наказан розгами, исключен из корпуса и отдан в кантонисты.

После этого случая Бронеvский ходил мрачнее тучи. Он перестал здороваться с кадетами, а через несколько дней явился в корпус, построил в огромном, так называемом экзаменационном зале весь батальон поротно четырехугольником. Все офицеры и, кажется, учителя должны были при этом присутствовать. Бледный и суровый, явился перед кадетами Бронеvский и объявил, что он теперь убедился, что злая язва глубоко вкоренилась между кадетами, что он решил эту язву, эту гидру радикально искоренить, что он знает всех зачинщиков беспорядков и требует, чтобы они добровольно выступили перед фронтом и покаjались в своих заблуждениях. Когда же никто не вышел, то Бронеvский объявил, что он по глазам узнает, кто виноват и кто невиновен. Обходя фронт и пристально вглядываясь в лица кадет, он вызвал некоторых перед фронтом. Все вызванные были жестоко наказаны розгами.

Бедные, дрожащие, чуть живые от страха остальные кадеты ждали со слезами на глазах, чем кончится весь этот ужас.

Через день повторилась та же история. Броневский вызывал других кадет и наказывал их. Так повторялась эта история через два-три дня в продолжение довольно долгого времени... Кадеты совершенно потеряли головы. На большинство нашел какой-то столбняк. Ежедневное ожидание жестокой экзекуции при столь мрачной и торжественной обстановке, возможность быть вызванным из фронта для тяжкого наказания породили в кадетях страх и смятение. Они ходили как потерянные, совсем перестали заниматься уроками, лишились возможности учиться... Появились нервные заболевания. В городе с ужасом говорили о жестокости Броневского, и всеобщие жалобы достигли до Петербурга.

Броневский был сменен, и на его место был назначен Ватаци. Он сразу поставил себя иначе, чем все его предшественники. Он ко всем относился ласково и был всем доступен. Ватаци начал с частого посещения лекций и рот в рекреационные часы; при этом он ласково, умело беседовал с детьми и совершенно отечески вникал в их быт. Не было и помину о телесном наказании. При посещении лекций, заметив у кого-либо неудовлетворительную отметку по какому-либо предмету, Ватаци тщательно вникал и добивался узнать, почему у кадета один предмет идет успешнее другого? Преподавателям он усиленно рекомендовал не притеснять кадет, у которых оказывались неуспехи только по одному, двум предметам, а по остальным все шло удовлетворительно.

Под влиянием <А.И.> Ватаци изменились и самые приемы преподавания. Лекции стали носить характер собеседования. Многие лекции ожидались прямо уже с нетерпением. <...> Зачастую Ватаци просиживал в классе целую лекцию, с живейшим вниманием следя за тем, как кадеты их себе усваивают. В рекреационные часы он неукоснительно посещал роты и часто

присаживался к какому-нибудь кадету и начинал просматривать с ним его урок, вступал в сердечную, отцовскую беседу и всюду и всегда вносил с собой ласку и веселье. Он так сумел всех очаровать своей приветливостью, что кадеты всегда искренно радовались его приходу.

В то же время Ватаци заботился, чтобы кадеты имели как можно больше благородных развлечений. По его инициативе многие из воспитанников специальных классов получали приглашение на бал в Дворянское собрание. Так как кадеты были хорошие танцоры, то старшины собрания их охотно приглашали. Кадеты же заводили в собрании знакомства и имели возможность бывать в хороших домах, что, безусловно, им было полезно. Ватаци очень покровительствовал любительским спектаклям, и потому в одной из зал устроена была очень хорошая сцена, снабженная всем необходимым, и кадетские спектакли вскоре получили известность, и многие горожане старались на них попасть.

Под влиянием и обаянием незабвенного Александра Ивановича Ватаци весь строй корпусной жизни изменился, как по волшебству. Всем стало весело и привольно, и кадеты питали к своему директору горячее, сыновнее чувство, а по выходе из корпуса на всю жизнь свято сохранили добрую память об этом благородном и прекрасном человеке.

Дерфельден С. фон. Воспоминания старого кадета // Русская старина. 1903. Т. 115. № 7. С. 75-84.

Е. К. Андреевский

Из воспоминаний о Москве

Александровское военное училище.

1863–1865 годы

В 60-х годах прошлого <XIX> столетия, с началом преобразований императора Александра Николаевича, сразу изменилась жизнь учебных заведений. Дух времени отразился и на жизни кадетских корпусов: из подтянутых, вымуштрованных, воспитанники этих заведений как бы сразу сделались распушенными; кадеты в стенах корпусов, что называется, забунтовали; то и дело было слышно об отправлении в разные корпуса, по высочайшему повелению, особых инспекторов-генералов для производства расследования; бунты выходили по большей части из-за пустяков: горькое масло подано к каше, в щах нашелся капустный червяк или в пироге оказался запеченным черный таракан; или, наконец, какого-нибудь упряма, не желавшего носить установленной формы — короткие волосы, обстригут в присутствии роты на барабане, — рота зашумит, за ней другая, смотришь, шумит весь батальон, получился корпусный бунт, который нередко кончался очень серьезно; при неосторожном, неосмотрительном, грубом вмешательстве кого-либо из офицеров-воспитателей какой-нибудь горячий юнец, бывало, без всякой мысли о благоразумии или о справедливости, нанесет усмирителю оскорбление действием и за это бешеное, ни с чем несообразное «молодечество» попадет в солдаты — вся карьера, не успевши еще начаться, гибла безвозвратно.

Было несколько таких случаев, что серую шинель надевали сразу пять-шесть человек, и много было таких

жертв именно в то переходное время.

Все это дало высшим военным сферам мысль о необходимости преобразования кадетских корпусов и скоро вылилось в ту форму, что специальные классы были отделены от общих. В конце лета 1863 года воспитанники, коим подлежало в кадетских корпусах перейти из пятого общего класса в первый специальный и из первого специального во второй, — были от всех корпусов (кроме Сибирского и Оренбургского) выделены и образовали собой три военных училища — 1-е Павловское, 2-е Константиновское — в Петербурге, и 3-е Александровское — в Москве.

В Александровское училище (на Знаменке) собраны были юнкера из кадет московских корпусов — 1-го, 2-го и Александринского сиротского, а также из Воронежского и Орловского.

Жутко пришлось юнкерам на первых порах; всем завоеванным ими вольностям сразу был положен конец; пошла сильная «подтяжка»; все было втянуто в колесо строжайшей субординации и суровой дисциплины; на многое юнкера жаловались, тяготясь тем непривычным режимом, о котором в последние годы бесшабашной кадетской жизни они забыли думать и вспоминать.

Между прочим, в кадетских корпусах рядом с простой распущенностью развито было кое-что и хорошее; вследствие более чем снисходительного взгляда начальства на позднее возвращение кадет из отпусков в воскресные дни, они получили возможность посещать театры.

Театров в Москве тогда и было-то всего два — Большой да Малый, и вот верхние места обоих театров по воскресеньям запестрели синими и белыми погонами кадет, наводнявших и оперу Большого театра, и комедию Малого, тогда находившегося в самом расцвете. <...>

Многие из кадет жили театральной жизнью; всецело отдаваясь ей, они пристрастились и к театру, и к актерам, доставлявшим массу наслаждения своей чудной игрой.

И вдруг, собранные в военное училище, переименованные в юнкеров, они лишились возможности доставлять себе это приятное и поистине полезное удовольствие; отпуска со двора стали разрешаться ежедневно, но возвращаться в стены училища было обязательно к 9 часам вечера. Никак не попадешь в театр.

Так юные театралы томились целых 8 месяцев — с конца августа 1863 до начала мая 1864 года.

В начале мая, когда начались годовые экзамены — в старшем выпускные, в младшем переходные, — совершенно неожиданно последовало высочайшее повеление о немедленном выпуске юнкеров старшего класса военных училищ в офицеры без экзаменов.

Старший класс возликовал, а младший — повесил нос; в сущности, ему оставили то, к чему он уже и приготавливался, то есть держание экзамена; но как же: старшие товарищи освобождены, а мы нет — выходило, как будто бы нас чего-то лишили, у нас что-то отняли.

Время пребывания воспитанников старшего класса в здании училища до дня производства, разумеется, должно было обусловить некоторые поблажки со стороны начальства для них, как для юнкеров, которые готовились не сегодня-завтра надеть офицерские эполеты.

Пошла разборка вакансий, а затем начались заказы мундиров; заблестели в стенах училища, рядом со скромными пехотными, артиллерийскими и саперными мундирами, гусарские ментики и доломаны, а также уланские мундиры с белыми, синими, красными, желтыми отворотами, зазвенели шпоры, юнкера выпускного класса получили дозволение безвозвратно

отлучаться из училища во всякое время и возвращаться в роты, когда им заблагорассудится.

Юнкерам же младшего класса оставалось с грустью продолжать <...> набираться знаний; но молодость брала свое: мы сетовали на то, что наших старших товарищей освободили, а нас оставили томиться за книжкой.

С течением времени, в этот период радостей старшего класса, и юнкера младшего получили некоторое облегчение: разрешено было и им возвращаться в училище не в 9 часов вечера, а по окончании спектаклей в театрах; сделано это было не так, что юнкера, мимо воли начальства, понемногу завоевали себе свободу в этом отношении; нет, не такое было начальство: наш незабвенный начальник училища инженер генерал-майор Борис Антонович Шванебах был слишком определенный человек: он увидел, что волна упоения старшего класса не может не отразиться на настроении младшего, а потому, очень скоро сообразив все, он объявил нам эту льготу во всеуслышанье: ходите в театры наравне со своими старшими товарищами, но не забывайте ни на минуту об артиллерии, фортификации, тактике и проч.; не жертвуйте науками театру, театр от вас не уйдет, а моменты приобретения знаний можете упустить; кроме того, понижение переводных баллов может сильно отразиться на будущности.

Мы и умудрялись, повышая средние отметки на экзаменах, не выходить, что называется, из театра — в такой мере раньше не доставало нам этого удовольствия.

Кончились наши экзамены, разъехались произведенные в офицеры старшие товарищи <...>. Младший класс сделался старшим; в младший наехали снова юнкера из кадет <...> Вновь образовавшийся батальон училища отвели в лагерь на Ходынское поле и

запрягли в муштру; опять пришлось забыть о театрах и о прочих развлечениях.

Однако Б. А. Шванебах не забыл того, что юнкера сумели пользоваться театрами и в то же время сдавали экзамены нисколько не слабее; он с нового учебного 1864/5 года разрешил возвращаться из отпусков после окончания спектаклей; сам он любил театр, посещал его частенько и, бывало, посматривает из первого ряда кресел на верх, как его питомцы чинно ведут себя «в райке».

«Любуюсь вами, — говорил он не раз, — тихо, смирно себе сидите и предаетесь удовольствию; да и то сказать, положительно в зрелый возраст вы входите, уже не маленькие вы для того, чтобы легкомысленно манкировать наукой в ущерб удовольствиям».

Наступил 1865 год; быстро прошли первые месяцы; с нетерпением ожидали юнкера старшего класса начала мая — времени экзаменов; они были наивно уверены в том, что и их труды поощрятся высочайшим повелением о производстве в офицеры без экзаменов.

Не тут-то было, — все экзамены до малейшей подробности были с нас строго взяты; только по окончании усидчивого труда, а затем тяжелого лагерного сбора на Ходынке мы получили разрешение в конце июля разобрать вакансии по полкам; лишь в августе 7-го числа состоялось производство...

А. Е. К. Ошибки короля Лира (Из воспоминаний о Москве) // Русская старина. 1908. Т. 134. № 5. С. 376-380.

Г. П. Миллер
Из «Воспоминаний пажа»
Пажеский корпус. 1871-1873 годы

...Время, которое я провел в корпусе, оставило во мне навсегда самые благодарные воспоминания. Во главе корпуса стоял тогда всеми любимый и уважаемый директор генерал-майор Д. Х. Бушен. К сожалению, при мне он был всего лишь год, когда неумолимая смерть лишила нас нашего любимого начальника и, так сказать, второго отца. Надо пояснить, что всего Бушен управлял корпусом пятнадцать лет, но я поступил прямо в старшие классы, почему мне и довелось всего один год провести под его начальством. Но и этот год оставил в моей памяти симпатичный портрет Бушена. Держал он себя чрезвычайно просто, вне строя не требовал титулования и близко входил в нужды каждого пажа; что бы ни случилось, всякий смело шел к нему и всегда находил в нем справедливую помощь, беспристрастный суд и отеческое отношение к молодости. Придет, бывало, на лекцию в класс, сядет где-нибудь на задней скамейке и слушает ответы пажей, не вмешиваясь и не предлагая вопросов; памятью он обладал поистине удивительною, поэтому немудрено, что и вечером зайдет в тот же класс, где побывал утром, и тут же начинались дебаты и споры по поводу прослушанного утром. Как теперь вижу его, окруженного пажами, разговаривающего с ними по поводу утренних ответов или сообщаящего им какую-нибудь новость в области знаний так увлекательно, с таким жаром, что нельзя было его не слушать. Словом сказать, Бушен и пажи было нечто неразрывное целое.

<...>

В мое время контингент пажей состоял из детей лиц высокопоставленных и богатых и из детей, отцы которых почему-либо имели право на определение сыновей в Пажеский корпус. В том и в другом случае поступление в корпус было обставлено большими трудностями, преодолеть которые удавалось лишь при помощи связей. Бывали и случайные определения в Пажеский корпус по особой высочайшей милости. Так, например, лично я был определен в корпус по особому случаю, именно: родной дядя мой со стороны матери был первым убитым в Севастопольскую кампанию <1853-1855 годы> офицером. <...>

Надо сказать, что император Николай Павлович с большим разбором давал звание пажа; поэтому такая царская милость ценилась особенно дорого. Обыкновенно же назначение в Пажеский корпус совершалось следующим образом. Лицо, имевшее право определить детей в этот корпус, должно было подать на высочайшее имя прошение. Собирались тщательнейшие справки о происхождении и заслугах просителя, и по докладу государю, при благоприятном исходе, сын просителя зачислялся кандидатом Пажеского корпуса, что, однако, не освобождало его от вступительного экзамена. Пожалование же прямо в пажи к высочайшему двору было очень редко и обеспечивало ребенку воспитание на казенный счет. Если почему-нибудь паж высочайшего двора не поступал в Пажеский корпус, а избирал другое учебное заведение, то и в этом последнем он воспитывался на счет Его Величества.

Вообще, доступ в Пажеский корпус был в то время очень труден. Впоследствии же доступ значительно облегчился, почему и элементы, составлявшие контингент пажей, стали разнообразнее, а кастовая обособленность <...> сошла почти на нет. В мое время, наряду с представителем древнерусского боярства,

например Нарышкиным, или громким титулом, не диво было встретить юношу со скромной фамилией, из детей выслужившегося генерала.

Очень понятно, что такая рознь порождала и резко отличавшиеся друг от друга партии. Получившие тщательное домашнее воспитание, родовитые дворяне держались особо от прочих сотоварищей, не могших равняться с ними ни воспитанием, ни средствами. Так было в стенах учебного заведения, так перешло и в жизнь. Собственно того, что принято называть товариществом в том смысле, как это понимается в других корпусах Военного ведомства, в Пажеском корпусе не было. <...>

Бывали, однако, случаи, когда всякая кастовая рознь исчезала и все пажи сливались душою воедино. Такое явление особенно сильно давало себя заметить при посещении корпуса государем. В этих редких случаях все становились товарищами по духу, всех одушевляла одна общая радость, все сливались в один общий восторг.

К такому, страстно ожидаемому событию начинали готовиться уже со второй недели Великого поста. Приготовления эти заключались в том, что с 11 часов утра одевались в новые куртки и все блестело чистотой и порядком. Для встречи государя всегда избирался камер-паж из числа лично известных ему. Последнее посещение корпуса в Бозе почивающим императором Александром II навсегда запечатлелось у меня в памяти. Я был тогда уже камер-пажом старшего специального класса, то есть на выпуск в офицеры. Это было в 1873 году, в среду на третьей неделе Великого поста.

В перемену между окончанием классных занятий и началом упражнений несколько человек, стоявших у окна, увидели царские сани, въезжавшие на двор <...>

Тотчас же раздались крики: «Государь, государь!» — и затем команда дежурного офицера поручика Даниловского: «Строиться!»

Государь поднялся сперва в младший возраст, где еще продолжались классные занятия. Между тем внизу, в помещении старших классов, все уже были в сборе, два старших класса, выстроенные и выровненные, с замиранием сердца ожидали появления обожаемого царя. Но вот раздалась команда: «Смирно! Глава направо!» — и в дверях нашей залы показалась его величественная фигура <...> В этот момент в другие двери вбежал покойный Бушен. Государь поздоровался с пажами и милостиво подал руку Бушену, поцеловавшему его в плечо. Подойдя к правому флангу, государь пошел по застывшему фронту пажей; на вопросительный его взгляд Бушен сейчас же называл пажа по фамилии. Многих государь узнавал и сам, потому что ему случалось видеть их на высочайших выходах и балах. Нередко царь был так милостив, что, остановясь перед кем-нибудь из знакомых ему пажей, приказывал передать отцу поклон. <...> Часто государь осведомлялся о том, в какой полк намерен выйти по окончании корпуса камер-паж, и давал совет, указывая, куда именно, по его мнению, лучше; в этом случае указание его считалось за указание промысла Божия и всегда свято исполнялось, хотя и не было обязательным.

Но вот государь обошел фронт и выразил желание посетить лазарет. Директор сопровождает его туда, а пажи, лишь только государь ушел, стремглав бегут в переднюю, и счастлив тот, кому удастся хотя одной рукой держаться за шинель государя. В этой шинели, во внутреннем кармане, всегда находился портсигар кожаный с серебряным ободком, всем нам хорошо знакомый. Очень понятно, что содержимое, за исключением двух-трех папирос, разбиралось на

память, и все замирали в ожидании государя. Громкое «ура!» встречало его появление; он подходил к своей шинели, которая набрасывалась на него пажам. Затем с улыбкой, которую никогда нельзя забыть, обращаясь к пажам, государь спрашивал: «Оставили мне парочку папирос?»

«Оставили, Ваше Величество!»

«Ну, Бог с вами. Спасибо за службу».

«Рады стараться, Ваше Императорское Величество!»

«Бушен, отпусти их на три дня».

Громкое «ура!» было ответом на эту милость и сопровождало выход государя. Пажи помогали ему сесть в подкатившие к подъезду сани, застегивали полость и, окружив царские сани, бегом сопровождали царя до ворот корпуса. Это был обожаемый отец, окруженный беспредельно любящими его детьми.

На улице восторженные крики пажей утопали в кликах собравшегося народа, и долго, долго еще слышны были восторженные приветствия. Нечего и говорить, что не скоро могло успокоиться взволнованное молодое сердце...

Время от времени приезжали в корпус и присутствовали при ответах пажей члены Совета военно-учебных заведений и изредка главный начальник генерал-адъютант Н. В. Исаков. Чаще других из числа членов Совета бывал в корпусе <...> генерал В., почтенных уже лет, небольшого роста; сильно близорукий и глуховатый, он, однако, очень интересовался учебною частью и часто предлагал вопросы, вызывавшие в пажах веселое настроение. Помню я, как с ним произошел курьез на экзамене тактики. Этот предмет, составляющий, так сказать, преддверие стратегии, читал полковник Левицкий, увлекавшийся сам и увлекавший своим красноречием слушателей. Генералу В., внимательно вслушивавшемуся в ответ одного из лучших учеников,

вздумалось предложить ему вопрос: во сколько времени сорокатысячный корпус, расположенный в шестиверстном районе, может быть выстроен в одну шеренгу. Отвечавший паж был видимо смущен столь неожиданно поставленным вопросом. Так как военная история, на которую постоянно ссылается тактика, подобного примера не дает, потому что при таком построении неприятель легко бы перебил всю армию, по одному человеку, начав с любого из флангов, полковник Левицкий, видя затруднение пажа и желая поддержать его, спросил генерала: «Позвольте, ваше превосходительство, узнать, в каком сражении было подобное построение?»

В свою очередь смутился и генерал. «Где именно, не помню, — отвечал он, — но где-то положительно было».
<...>

Вообще экзамены, а в особенности экзамены в старших классах, имели большое значение и обставлялись очень серьезно: почти всегда присутствовала комиссия из членов Главного управления военно-учебных заведений. Но самое серьезное значение имели экзамены, обуславливающие переход из младшего специального класса в старший выпускной и сопряженное с успешным переходом в этот класс производство в камер-пажи, для чего надо было получить не менее 9 баллов в среднем выводе, при 12-балльной системе. Удостоенный производства в камер-пажи мог считать себя обеспеченным в отношении выхода в гвардию при каком бы то ни было исходе занятий в старшем специальном классе. В мое время камер-пажу почти что и некогда было заниматься науками особенно усердно. Камер-паж, кроме своей домашней внутренней службы, то есть дежурства по роте и по лазарету, и общей фронтовой службы: разводов, парадов, нес еще придворную службу,

присутствуя при высочайших балах, выходах, обедах и проч.

Если принять во внимание, что наш выпуск состоял из девятнадцати человек, то весьма понятно, как мало времени останется на учение, и снисходительность начальства представится очень естественною. <...>

По окончании экзаменов, весною, старшие классы уходили на практические работы по топографии, иначе сказать, на съемку местности. Для этой цели обыкновенно выбирался <...> Петергоф <...>. Откровенно сказать, две недели, назначавшиеся на это занятие, незаметно проходили в самом веселом препровождении времени. Участки для работы назначались небольшие, так что часа в два с небольшим смело можно было кончить; остальная же часть дня и вечер были в полном нашем распоряжении; зоркий глаз офицеров, руководивших съемкой, отсутствовал, пажи сходились в назначенном месте, и шел пир горой; впрочем, к заре, то есть к 9 часам вечера, все были дома в бараке и до поздней ночи передавали друг другу впечатления дня...

Миллер Г. Воспоминания пажа // Исторический вестник. 1897. Т. 68. № 4. С. 165-172.

В. С. Кривенко
Из воспоминаний «Юнкерские
годы»
Первое Павловское военное
училище. 1871-1873 годы [\[34\]](#)

...После окончания курса в одной из провинциальных военных гимназий я приехал в Петербург в военное училище один, без товарищей, которые под руководством воспитателя «привезены» были ранее меня на несколько дней. Прямо с вокзала я направился в училище. Невский проспект меня не особенно поразил, по картинам и иллюстрациям я знал уже его, знал и столичные монументы; здание же училища показалось мне очень некрасиво, а подъезд и вестибюль очень небольшими по сравнению с тем, что я ожидал встретить.

Из-под маленькой лестницы, из своей конуры, откуда тянуло жареным кофе, выскочил старик-швейцар в красной ливрее и указал, как найти дежурного офицера. Пройдя через небольшую приемную, я уперся в большой стол, за которым сидел насупившийся, свирепый на вид капитан с лицом, обильно заросшим черными волосами. Офицер резко оборвал мою речь и приказал отправиться в роту.

Этот неласковый прием обдал меня холодом и укрепил желание скорее перебираться из «академии шагистики» в инженерное училище, на что я имел право. О своем желании я заявил по начальству и был убежден, что через несколько дней буду переведен, но вышло совсем иное. Меня позвали к начальнику заведения <А. В. Приговскому>, очень мягкому и

доброму человеку, который заговорил со мною языком военно-гимназического воспитателя и советовал остаться под его началом, рисуя передо мною в будущем радужные картины. Говорил генерал очень хорошо, хотя имел дурную привычку прерывать плавно льющуюся речь какими-то, видимо ободрявшими его, звуками «пхе-пхе».

Корпусные товарищи отстаивали точку зрения начальника и окончательно убедили меня, махнув рукой пока на инженеров, оставаться <...>.

Кадетские страхи о строгости порядков «академии шагистики» оказались сильно преувеличенными. Мы здесь чувствовали себя несравненно свободнее, чем в военной гимназии. Не ограничиваясь ротным помещением, можно было бродить по длиннейшим коридорам и дортуарам всего исторического здания, гулять на громадном плацу и в саду. Любителей гулянья, впрочем, насчитывалось не особенно много, в особенности не в ясную погоду. Бывало, в свежее утро выскочишь в одном «бушлате» в сад, заложишь руки в обшлага и быстро маршируешь по пустым почти аллеям, встречая лишь сосредоточенные лица военных мечтателей, бродящих точно послушники за монастырской стеной. В саду и на плацу тишина, а оттуда, из города, доносится вечный шум водопада — грохот столичных экипажей.

В числе немаловажных преимуществ училища, по сравнению с военной гимназией, был значительно более вкусный и обильный стол. В то время, как в нашей военной гимназии полагалось на продовольствие человека в сутки 12 ½ коп., в училище выдавали ровно вдвое — 25 коп. Деньги небольшие, но в массе можно было кормиться. Кухней заведовали выборные из юнкеров артельщики, и, кроме того, по общей батальонной кухне назначался дежурный, который в этот день ел за четверых...

Меню обедов составляли юнкера, не отличавшиеся изобретательностью. Котлеты играли выдающуюся роль...

В торжественные дни в громадной, сводчатой столовой играл оркестр, а юнкера заказывали, как особенный деликатес, кофе на молоке и шоколаде. Шутники уверяли, что училищные повара ухитрялись в одном кофейнике сразу варить и шоколад и кофе... Разницы во вкусе не было никакой.

За плату у повара, не всегда, впрочем, можно было получить пельмени и котлеты. <...>

В училище за каждым шагом уже не следил воспитатель. На все четыре роты был лишь один дежурный офицер, который раз или два в день обходил роты, а затем сидел в дежурной комнате. Офицеры не мозолили нам глаза своим присутствием, но зато, в случаях соприкосновения с ними, требовалось безусловное послушание и точное, беспрекословное исполнение всех требований. В случае недоразумений доказывать начальству свое право, «объясняться», было немыслимо. Исключение практиковалось лишь по отношению к преподавателям. Опоздать, хотя на минуту, в строй считалось преступлением. Вообще, в нашем училище на юнкеров смотрели не так, как прежде на кадет специальных классов, а как на лиц, действительно состоящих на военной службе, и потому строгая дисциплина проводилась систематичной, сильной рукой. <...>

Начальник училища ежедневно делал обход заведения, но не для «разноса» и устрашения, а больше для смягчения нравов. Всех юнкеров он знал не только по фамилиям, но и по успехам в науках. Плохо занимавшимся совестно было попадаться на глаза генералу, и они спешили заблаговременно скрыться и уклониться от отеческих наравоучений. <...> Начальник училища не выносил фигуры юнкера с опущенными в

карманы руками, свист также выводил обыкновенного генерала из себя. <...>

Генерал любил искусство. Он поощрял музыкальное развитие. Устраивал юнкерский оркестр и очень покровительствовал певчим, предоставлял им лишний раз в неделю ходить в отпуск и на казенный счет давал ложи в оперу. Благодаря его стараниям и усилиям Николая Ивановича С-ва, вечно розовенького и аккуратненького учителя пения, юнкера пели на двух клиросах. На спевках все шло превосходно, но в церкви Николай Иванович не дирижировал, и некоторые яростные басы своим ревом портили иногда общий ансамбль.

В некоторых учебных заведениях существует и до сих пор взятое от немцев начальническое отношение старшего курса к младшему. У нас в училище этого положительно не было. В роте имели авторитетный голос фельдфебель и дежурный юнкер; другие же в офицеров не играли, и я не припомню случая присвоения себе старшим курсом каких-нибудь начальнических прав.

На фельдфебеле же и дежурном лежала очень трудная и щекотливая обязанность сохранять полный порядок и спокойствие в роте. Нужно было иметь много такта и силы воли, чтобы выйти победителем из этого положения.

При моем поступлении в училище фельдфебелем в нашей роте был Нал-н, стройный, бравый юнкер с смеющимися голубыми глазами и приятным голосом. Помню, с большим почтением приблизился я к его единственному в дортуаре письменному столику около постели, украшенной красной именной дощечкой, в отличие от синих, простых юнкерских, и сине-красных — портупей-юнкеров. Нал-н быстро меня ободрил, и потом мы с ним очень сошлись. Он всей душой стремился из Петербурга, который, несмотря на то, что

вырос в нем, органически ненавидел. Мечты о Кавказе и Туркестане, о казачестве, о боевой, бивуачной жизни одолели его настолько, что он бросил заниматься науками и все время, свободное от лекций и строевых учений, посвящал чтению путешествий, военной истории и атлетическим упражнениям. <...>

Два старших портупей-юнкера Ст-ч и Кин-в, *inséparables*^[35], были соединены узами самой нежной дружбы, учились превосходно, вели себя безукоризненно и обещали сделаться образцовыми гвардейскими офицерами. Оба они были петербургские уроженцы и потому при первой возможности исчезали в отпуск. <...> Для соблюдения порядка в роте в помощь дежурному ежедневно назначались в его распоряжение два дневальных. Целые сутки приходилось ходить затянутыми в портупею, с неудобным тесаком и в кепи с султаном. Все бы это ничего, если бы не бодрствование ночью, что для кадет, привыкших в военной гимназии ложиться в 9 часов, казалось очень тяжело. Неприятна была также обязанность будить юнкеров, в особенности после обеда. В течение дня строго было запрещено ложиться и даже садиться на постель; исключение делалось лишь после обеда, когда, по усмотрению дежурного офицера, разрешалось спать от ½ часа до часу. Этой льготой некоторые юнкера очень дорожили, несмотря на юный возраст, скоро приучились заваливаться после обеда спать, точно отяжелевшие майоры, и с благодарностью относились к тому офицеру, который давал больший срок для *dolce far niente*^[36]. Поднять на ноги таких разоспавшихся «майоров» было очень трудно, приходилось несколько раз обходить дортуар, тормозить российских лентяев и выслушивать в ответ или клики и неприятности, или воззвания к человеколюбию и к чувствам товарищества.

Ночью, когда все вокруг погружалось в здоровый молодой сон и лампы еле-еле освещали громадный зал, в уголку, у копящего ночника обрисовывалась фигура дневального в кепи с султаном и в серой шинели. Некоторые из дневальных на дежурстве клевали носом, но это было опасное занятие, так как можно было прозевать обход дежурного офицера и тогда в результате пришлось бы «получить несколько лишек», то есть не в очередь быть назначенным на дневальство. <...>

К главному старинному зданию училища примыкала под прямым углом двухэтажная пристройка, в которой помещались «классы». Бесконечный верстовой коридор, тянувшийся по всему почти дому, поворачивал сюда и обводил заботливым бордюром все учебные комнаты. Здесь уже не было глянцевого паркета, вместо него виднелся некрашеный пол, классная мебель также не отличалась ни изяществом, ни удобством. Несмотря на установившееся за училищем реноме «академии шагистики, а не наук», все-таки центр деятельности заведения был не в залах, не в манежах, не на плацу и военном поле, а здесь, в этих неказистых «классах». Самые заматерелые «фронтовики» уже понимали, что сила в голове, а не в носке... Какое бы значение начальство ни придавало строевым занятиям, но успех мог иметь только юнкер, хорошо аттестованный в науках, и отличные отметки не приносили желанных портупей-юнкерских нашивок лишь исключительным вахлакам и физическим неудачникам.

Некоторые предметы читались не в «классах», а в довольно обширных аудиториях, где собирался весь курс. Здесь в первый год мы слушали историю, статистику, законоведение, а впоследствии артиллерию и долговременную фортификацию.

Нам нравился, в особенности сначала, внушительный вид аудитории, наполненной

многочисленными слушателями. Это уже не были корпусные лекции, перемешанные ответами учеников, замечаниями и выговорами преподавателя-учителя; здесь уже в течение часа профессор стремился произвести на нас впечатление своим красноречием и своей эрудицией.

Впрочем, артиллерист Ш., большой оригинал, держал себя иначе и не бил на эффекты. Он довольно часто обращался к слушателям и задавал всему курсу разнообразные вопросы, конечно, не с тем, чтобы делать оценку знаний, а желая лишь удостовериться в понимании. На неудачный ответ он раздражался резкими выходками, вызывавшими юнкеров на возражение. Впрочем, он и перед офицерами не особенно сдерживался и непонимание и неточность выражений казнил беспощадно. Несмотря на полковничий чин, ученый артиллерист далек был от дисциплинарных правил и нисколько не смущался отсутствием чинопочитания к нему. Прежде он был грозой на репетициях и экзаменах и беспощадно казнил непонимание сложных математических выводов и положений. Один из юнкеров, потерпевший у него на экзамене, застрелился, и с тех пор полковник отказался от роли экзаменатора, баллов не ставил и лишь читал в аудитории, причем мы должны были следить за ним по особому печатному конспекту с вклеенными в него чистыми листами для записывания деталей. На лекциях Ш. присутствовали преподаватели-репетиторы, дававшие нам потом в «классах» пояснения. <...>

Кроме истории, статистики и Закона Божьего, из общеобразовательных предметов нам читали еще законоведение и историю русской литературы, да кроме того, обязательны были занятия по немецкому и французскому языкам. Вся совокупность этих предметов отнимала от нашей школы специально военный оттенок и придавала учебным занятиям много

интереса. Хотя эти общеобразовательные науки и считались второстепенными, но тем не менее, за исключением, к сожалению, иностранных языков, на эти предметы в училище обращали внимание, и по требованиям на репетициях ничем они не отличались от специально военных.

Вообще вся учебная программа военного училища была выработана превосходно и давала возможность военным гимназистам закончить общее образование и осмысленно ознакомиться с основами военных наук. Средних способностей юнкер должен был поменьше развлекаться и усидчиво работать, чтобы не отставать от курса. Репетиционная система подбодряла малодушных и не позволяла запускать подготовку в долгий ящик; даже не имевшие никакого влечения к науке поневоле принимались за книги, а еще охотнее пристраивались к какому-нибудь «прилежному», который из чувства товарищеской поддержки, а также из желания проверить свои знания «объяснял» беспечным. Встречались из последних такие, которые так, «с голоса», не развертывая учебников, проходили весь курс, и иногда весьма удовлетворительно. <...>

В отпуск можно было ходить два раза, а певчим даже три раза в неделю. Большинство юнкеров были из провинциальных корпусов, не имели никаких знакомых семейных домов и потому выходили из училища только пофланировать по городу или в театр.

Во всей громадной столице у меня не было не только ни одного родственника, но ни одного знакомого, исключая, конечно, юнкеров. За двухлетнее пребывание в училище я все время находился точно на военном корабле. Время от времени заходил в новый порт, съезжал на берег, ходил по главным улицам иностранного города, кишевшего совершенно чужими мне людьми; а затем опять на шлюпку, опять в корабельную обстановку...

Там, далеко-далеко, на Кавказе, были родной угол, родная семья, от которой образовательная повинность оторвала меня с десяти лет. В милой Полтаве, в которой я воспитывался, также издали улыбались мне знакомые лица добрых, хлебосольных горожан и хуторян, приветливо относившихся к «своим кадетам». А в Петербурге никто на нас не обращал внимания. Никто, никто! Будущий генерал, быть может, фельдмаршал едет по улице, и на его серую солдатскую шинель, на его несчастное кепи с жалким султаном никто и не взглянет. Много было предметов более интересных. Подождите же, петербуржцы, узнаете вы нас!.. Но столичная толпа оставалась по-прежнему далека нам и не подозревала о чувствах, kloкотавших в груди «молоденьких солдатиков»...

Товарищи мои были люди малосостоятельные, за малым исключением — беднота, получавшая из дому от своих отцов-офицеров незначительные суммы; но тем не менее денежные повестки ожидалась с большим нетерпением.

Вместе с «синенькими» и «красненькими» бумажками юнкер получал и письма, большей частью наставительного характера, на тему о необходимости экономии, так как «жалованье у отца небольшое и другие дети подрастают». Большинство с грустно-сосредоточенными лицами углублялись в чтение весточек из далекого дома; но об экономии скоро забывали и быстро проедали бумажки. Все это мотовство не превосходило десятков рублей... Общее экономическое состояние родителей юнкеров было почти одинаковое, не особенно завидное. Те кадеты, которые были посостоятельнее, поступали в кавалерийское училище <...>.

Богатство, просто даже комфорт были так от нас далеки, что мы об этом даже и не мечтали. Столичная роскошь казалась нам созданною для другой породы

совсем чуждых нам людей, а не для бывших кадет и юнкеров, которым суждено весь век жить на скромное жалованье. Помню твердо — богатству мы не завидовали, у нас были другие, не материальные, но радостные приманки в жизни.

Платье, белье и сапоги были у всех казенные. Единственную роскошь, <которую> позволяли себе юнкера, — это белые перчатки. Ни о лихацах, ни о кабинетах в ресторанах, ни о креслах в театрах нечего было помышлять. <...> Мы, главным образом, направлялись в оперный рай и, максимум роскоши, в ложу 3-го яруса, которая стоила тогда, кажется, 5 рублей. Драматический театр менее привлекал нас, зато «на верхах» Мариинского мы были свои люди. Один из юнкеров имел знакомство в кассе, и билеты нам всегда обеспечены. <...>

Из экономии мы обыкновенно не отдавали капельдинеру наши шинели, а клали на сиденье; буфетные конфеты и фрукты также были нам не по карману, сладости же мы очень любили и потому приносили с собой фунтики с миндальным пирожным, яблоками или апельсинами. И какими мы себя расточителями считали, как велики нам казались наши театральные расходы!.. По окончании спектакля юнкера, надрывая себе глотки, с усердием удивительным, трогательным, вызывали своих любимцев и, спускаясь с райских вершин, постепенно перебегали в нижние ярусы и оттуда сыпали аплодисментами, пока не потухала люстра. Гимнастическим шагом, вприпрыжку, возвращались мы в училище, припоминая по дороге понравившиеся мотивы и перекидываясь компетентными замечаниями <...>.

Чем ближе театралы подвигались к училищному подъезду, тем более встречалось юнкеров, спешащих к той же цели, к столу дежурного офицера. «Подарить»

начальству не хочется ни минуты из отпускного срока, но зато и опоздать немыслимо. И вот с приближением часовой стрелки к 12, приемная быстро наполнялась юнкерами, спешно оправлявшими кепи и портупеи, а затем вся группа гуськом, точно к кассе, подвигалась к дежурному офицеру и по одиночке, навтыяжку, рапортовала о выпавшей на их долю чести ему явиться.

Случалось изредка, что среди юнкеров с безукоризненной выправкой попадал кто-нибудь с чуть колеблющейся походкой и не совсем твердым языком, тогда товарищи быстрее подходили к столу и уже не гуськом, а по два, по три, стараясь закрыть подкутившего юношу <...>

Никогда уже впоследствии я не испытывал такого удовольствия от служебного повышения, как при производстве в фельдфебели. <...> Далеко я был от всякого философствования, не затемнял непосредственных впечатлений досадным анализом и совершенно был счастлив, любясь на свои нашивки и на саблю с серебряным темляком. Мне казалось, что не только в училище, но и на улице прохожие не без интереса поглядывали на мои погоны...

Однако новая должность несла с собой и очень колючие шипы. Приходилось, оставаясь добрым товарищем, не ронять своей начальнической роли и не прибегать к карательному вмешательству ротного командира. С самого раннего утра надо было во всем сдерживаться и не позволить себе никакого отступления от правил, чтобы не дать повода к подражанию.

Вечером после дня, проведенного за усиленными физическими упражнениями и учебными занятиями, рота возвращалась из столовой ленивым шагом и строилась «покоем» для переключки. Я читал длинный <...> список-свиток юнкеров, и каждый при звуке своей фамилии произносил: «Я!» Исстари так завелось, что

при этом некоторые позволяли себе отвечать или чрезмерно громко, точно в рупор, или с комическим оттенком. Опять нужно было балансировать так, чтобы не прослыть за придиру, «трынчика» и в то же время не позволить слишком уж резких проявлений веселья.

Сколько приходилось выслушивать объяснений о назначении на дежурство и дневальства!..

Я невольно выработал себе особую манеру говорить перед фронтом, причем мой голос казался мне самому чужим, каким-то сухим и жестким.

Бывало, рота выстроится по какому-нибудь случаю, и видишь, небрежно плетется запоздалый приятель-товарищ. Нечего делать, скрепя сердце, насупишь брови, «надвинешь на лицо маску» и делаешь при всех ему замечание; а если на грех он буркнет недовольное слово в объяснение, приходилось возвысить голос и резко оборвать забывшего дисциплину, а у самого кошки скребутся на душе. И рота стоит смирно, никто не пошевелится и не улыбнется. Для испытания своего авторитета стараешься выдержать такое приподнятое настроение добрую минуту и в то же время страшно передерживать момент, а вдруг кто-нибудь, на грех, чмыхнет или сделает демонстративное движение; тогда ведь протест внезапно охватывает массу, и с ней уже не в силах справиться товарищу-начальнику.

В общем, громадное большинство относилось очень благодушно к фельдфебельским требованиям, а некоторые из товарищей просто поражали старательнейшей помощью мне в интересах порядка. Вот уже именно неизвестные, бескорыстнейшие деятели! Вспоминается мне, например, левофланговый С-ский, удивительно рачительно относившийся к служебным требованиям. Не только приказание офицера, но поручение портупей-юнкера было для него законом, и он тщательно все исполнял, не отделяя обязательное от необязательного. Надо было видеть

его в строю, как он старался добросовестно, от души «тянуть носок» или левым плечом поддерживать равнение. <...>

Несмотря на некоторые шипы, я с благодарностью вспоминаю фельдфебельскую должность. Это была превосходная жизненная школа, которую приходилось проходить практически, без руководства и постороннего вмешательства. <...>

А время все двигалось вперед и вперед, и выпуск, производство в офицеры приближались. После девятилетнего пребывания в казенных корпусных и училищных стенах надо было наконец вскоре стать на свои ноги. <...>

Вышли из училища мы, нас заменил младший курс, а на его место из разных концов России уже направлялись новые, молодые побеги, новые юнкера... И так из года в год, незаметно, пропускает военная школа через свою воспитательно-учебную систему сотни молодых людей, и каждый из них, на какое бы поприще ни занесла его судьба, вспомнит всегда добром то заведение, где он, не испытывая умственного переутомления, почерпнул силы для жизненной борьбы и где убеждения его о рыцарском, бескорыстном служении родине окончательно сложились и окрепли.

Кривенко В. С. Юнкерские годы. 25 лет назад. СПб., 1898. С. 5-33, 81.

Сведения об авторах

Андреев Николай Иванович (1792–1870) — из псковских дворян; сын отставного подпоручика, служившего затем в Псковской губернии по гражданской части. В 1803–1808 годах воспитывался в Военно-сиротском корпусе, но курса не окончил. Завершил образование в 1810–1811 годах в Дворянском полку, откуда был выпущен в егеря. Участник Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии 1813–1814 годов. Произведен в штабс-капитаны в 1815 году, после чего вышел в отставку. С 1819 года служил по гражданской части на выборных должностях местного дворянского самоуправления — заседателем Порховского земского суда, капитан-исправником (начальником полиции) Новоржевского уезда Псковской губернии.

Андреевский Евгений Константинович (1847, по другим данным 1848–1917) — первоначальное военное образование получил в 1863–1865 годах в Александровском военном училище, затем обучался в Михайловском артиллерийском училище. Офицерскую службу начал подпоручиком в Гвардейской конно-артиллерийской бригаде. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, награжден золотым оружием «За храбрость». С 1878 года — капитан гвардии и флигель-адъютант Его Величества. В 1889 году перешел на гражданскую службу, переименован в коллежские советники с назначением курским вице-губернатором. В 1893–1903 годах — черниговский губернатор (с 1902 года — тайный советник). Затем состоял при министре внутренних дел. Вышел в отставку в 1907 году.

Бооль фон Владимир Георгиевич (1835–1899) — внук выходца из Германии, бывшего при Екатерине II инженерным генералом; сын полковника артиллерии. В 1841–1846 годах находился на воспитании в Александровском малолетнем Царскосельском кадетском корпусе, затем — в 1-м Санкт-Петербургском кадетском корпусе, откуда в 1856 году был выпущен в лейб-гвардии Волынский полк с прикомандированием к Михайловской артиллерийской академии. После ее окончания служил сначала преподавателем физики 1-го корпуса, затем помощником инспектора и инспектором классов в различных военно-учебных заведениях. С 1870 года — полковник. В 1884 году стал инспектором классов Третьего Александровского военного училища в Москве. С 1885 года — генерал-майор.

Броневский Дмитрий Богданович (1795–1867) — из дворянской семьи Тульской губернии, имеющей польские корни; сын отставного прапорщика гвардии, впоследствии тульского губернского прокурора. Образование получил в 1804–1811 годах в Морском кадетском корпусе. Еще будучи гардемаринном, принял участие в Русско-шведской войне 1808–1809 годов. Выпущен мичманом в Черноморский флот, но в 1813 году был переведен прапорщиком в Дерптский конно-егерский полк, участвовал в заграничном походе русской армии 1813–1814 годов. Командуя Тверским драгунским полком, принимал участие в Польской войне 1831 года. В генерал-майоры произведен в 1839 году. С 1840 года в течение десяти лет — директор Царскосельского лицея. С 1850 года — генерал-лейтенант.

Вохин Николай Васильевич (1790–1853) — из старинного дворянского рода Псковской губернии;

родился в семье отставного поручика. В 1801-1807 годах воспитывался во 2-м Санкт-Петербургском кадетском корпусе, из которого был выпущен в артиллерию. В чине подпоручика принимал участие в Отечественной войне 1812 года, за отличия в сражениях под Салтановкой и Смоленском награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». В 1823 году произведен в полковники и назначен командиром 2-й учебной бригады военных кантонистов. С 1834 года — генерал-майор. В отставку с военной службы вышел в 1841 году, но после поступил в ведомство Министерства внутренних дел и был переименован в действительные статские советники. Окончательно вышел в отставку в 1846 году.

Дараган Петр Михайлович (1800-1875) — сын отставного майора, помещика Полтавской губернии. Благодаря матери, близкой родственнице героя Отечественной войны 1812 года генерала К. Ф. Багговута (убитого в сражении при Тарутине), в 1815 году был принят в Пажеский корпус. Выпущен в 1819 году в прапорщики лейб-гвардии Конно-пионерного эскадрона. Участник Русско-турецкой войны 1828-1829 годов, военных действий на Кавказе против горцев в 1830 году и Польской войны 1831 года. Произведен в полковники в 1833 году. В чине генерал-майора с 1844 года командовал бригадами в легких кавалерийских дивизиях. С 1850 года числился по Министерству внутренних дел, был военным губернатором Тулы и тульским гражданским губернатором. С 1855 года — генерал-лейтенант. Вышел в отставку в 1866 году.

Дерфельден фон С. — из старинного прибалтийского дворянского рода. Обучался сначала в Тамбовском малолетнем кадетском корпусе, затем, в

1855 — первой половине 1860-х годов, — в Михайловском Воронежском кадетском корпусе.

Дьяконов Николай — предположительный автор воспоминаний «Производство в офицеры в 1858 году», подписанных в журнале «Русская старина» криптонимом «Н.Д.». Раскрыт на основании списка выпускников Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров этого года.

Завалишин Дмитрий Иринархович (1804-1892) — родился в Астрахани; сын генерал-майора. В 1816-1819 годах воспитывался в Морском кадетском корпусе. После выпуска в мичманы сразу определен туда же преподавателем. В 1822-1824 годах под командованием М. П. Лазарева совершил кругосветное плавание; принимал участие в деятельности Русско-Американской компании. С 1824 года — лейтенант Флотского экипажа. Несмотря на то что формально в декабристских организациях не участвовал и в день восстания на Сенатской площади не был, обвинен в согласии с умыслом цареубийства и приговорен к каторжным работам. В 1827-1863 годах находился в Сибири, где занимался литературной работой. После возвращения обосновался в Москве.

Зеленой Александр Ильич (1809-1892) — из дворян Псковской губернии. Образование получил в 1822-1826 годах в Морском кадетском корпусе. После производства в мичманы был оставлен в нем преподавателем математики, затем стал помощником инспектора и инспектором классов. В общей сложности прослужил в корпусе 35 лет, постепенно поднимаясь в армейских чинах. В 1860 году был назначен начальником Штурманских классов (Штурманского училища), в следующем году произведен в генерал-

майоры. С 1868 года — генерал-лейтенант, член Комитета морских учебных заведений. В 1872 году назначен начальником Технического училища Морского ведомства в Кронштадте. В 1879 году переименован в вице-адмиралы, с 1880 года — адмирал.

Зенденгорст К. (ок. 1806 — не ранее 1871) — воспитанник 1-го Санкт-Петербургского кадетского корпуса в 1813–1825 годах, из которого был выпущен прапорщиком в пионерный (саперный) батальон. Впоследствии проживал в Уфе.

Казаков Иван Михайлович (1797–1883) — из орловских дворян. В 1809–1813 годах воспитывался в Пажеском корпусе, откуда был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк. Участник заграничного похода русской армии в 1813–1814 годах (адъютант генерал-лейтенанта А. П. Ермолова). С 1820 года служил майором в Нижегородском пехотном полку и Астраханском кирасирском полку; впоследствии подполковник. Выйдя в отставку, служил в 1830–1842 годах в выборной должности предводителя дворянства Малоархангельского уезда Орловской губернии. Будучи избран начальником Малоархангельского ополчения, принимал участие в обороне Севастополя во время Крымской войны 1853–1856 годов, после чего вышел в окончательную отставку.

Карцов Павел Петрович (1821–1892) — из дворян Новгородской губернии; близкий родственник Петра Кондратьевича Карцова (ок. 1750–1830), адмирала, сенатора, директора Морского кадетского корпуса, члена Государственного совета. В 1834–1839 годах воспитывался в Новгородском кадетском корпусе, затем — в Дворянском полку, откуда в 1842 году был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк. В 1849

году участвовал в походе гвардии против венгерских мятежников. В 1858 году произведен в полковники, с 1861 года — командир Санкт-Петербургского гренадерского полка. Генерал-майор с 1862 года, генерал-лейтенант с 1870 года. Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Уволен от службы в 1892 году с производством в генералы от инфантерии.

Корсаков Алексей Николаевич (1823-1899) — из старинного русского дворянского рода, имеющего литовские корни. В 1830-1837 годах — воспитанник 1-го Московского кадетского корпуса. Вышел в отставку в 1869 году подполковником. Впоследствии сотрудник исторических журналов.

Кривенко Василий Силович (1854-1931) — воспитанник Петровского Полтавского кадетского корпуса. В 1871-1873 годах обучался в 1-м Павловском военном училище. Начал службу офицером в лейб-гвардии Финляндском полку, затем окончил курс в Военно-юридической академии. В 1881 году перешел на службу в Министерство Императорского двора, сначала помощником юрисконсульта, затем был старшим секретарем. С 1888 года управлял канцелярией министра. В 1890 году — статский советник. Помимо основной службы активно печатал корреспонденции в газетах, принимал деятельное участие в организации «Русского театрального общества». Избирался гласным Санкт-Петербургской городской думы, состоял председателем городской комиссии по благотворительности.

Крылов Николай Александрович (1830-1911) — родился в семье полковника, алатырского дворянина; племянник В. И. Панаева, директора канцелярии Министерства Императорского двора и известного в

свое время поэта. В 1841–1850 годах — воспитанник 1-го Санкт-Петербургского кадетского корпуса, из которого был выпущен поручиком в артиллерию. Участник военных действий на Кавказе против горцев; во время Крымской войны 1853–1856 годов находился в охране побережья Финляндии. С 1857 года в отставке. Принимал участие в работе Симбирского губернского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян, избирался мировым посредником Алатырского уезда, с 1865 года — председателем Алатырской уездной земской управы. Отец выдающегося ученого-кораблестроителя А. Н. Крылова.

Кулябка Константин Федорович (1837–1908) — в 1847 году поступил в Александровский Тульский малолетний кадетский корпус, в том же году был переведен в Орловский кадетский корпус. Впоследствии служил конотопским и черниговским уездным предводителем дворянства.

Миклашевский А. М. (? — не ранее 1890) — из малороссийского дворянского рода польского происхождения. Во второй половине 1840-х годов обучался в Дворянском полку одновременно с В. С. Курочкиным, впоследствии известным поэтом, журналистом и революционным демократом.

Миллер Георгий Петрович (? — 1925) — воспитанник Пажеского корпуса в 1871–1873 годах, откуда был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии стрелковый Его Величества батальон. После революции 1917 года эмигрировал, служил контролером на Китайско-Восточной железной дороге.

Ольшевский Мелентий Яковлевич (1816–1895) — из дворян Гродненской губернии. В 1826 году поступил

в 1-й Санкт-Петербургский кадетский корпус, по окончании которого в 1833 году был выпущен прапорщиком в артиллерию. В 1838–1840 годах окончил курс Императорской военной академии, был причислен к Гвардейскому генеральному штабу и через год получил назначение на Кавказ. В 1850 году произведен в подполковники и награжден золотой полусаблей с надписью «За храбрость». Будучи уже полковником, командиром Белевского пехотного полка, участвовал в Крымской войне 1853–1856 годов. Генерал-майор с 1854 года. После возвращения на Кавказ в 1861 году был произведен в генерал-лейтенанты. С 1881 года — генерал от инфантерии.

Ореус Иван Иванович (1830–1909) — происходил из шведского дворянского рода; родился в Санкт-Петербурге, сын товарища (заместителя) министра финансов и сенатора. Учился сначала во 2-й Санкт-Петербургской гимназии, затем, в 1845–1849 годах, — в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Выпущен подпрапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк. В 1856 году окончил курс Николаевской академии Генерального штаба. С 1861 года — полковник. В 1863 году был назначен начальником Военно-исторического и топографического архива (впоследствии переименованного в Военно-ученый архив), которым оставался более сорока лет. Генерал-майоре 1881 года, генерал-лейтенанте 1891 года. Вышел в отставку в 1906 году с чином генерала от инфантерии.

Скалон Дмитрий Антонович (1840–1919) — сын генерал-майора Генерального штаба. В 1852–1859 годах обучался в 1-м Санкт-Петербургском кадетском корпусе, откуда поступил корнетом в лейб-гвардии Уланский полк. В 1863 году окончил Николаевскую

академию Генерального штаба. В 1864–1878 годах был адъютантом великого князя Николая Николаевича Старшего, главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургским военным округом. Полковник с 1876 года. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, награжден золотым оружием «За храбрость». С 1878 года служил начальником канцелярии генерал-инспектора кавалерии, в 1891–1895 годах — начальником кавалерийской части Генерального штаба. Генерал-майор с 1883 года, генерал-лейтенант с 1895 года, генерал от кавалерии с 1907 года.

Топчиев Ефим Иванович (1801–1869) — поступил в Дворянский полк в 1815 году из Харьковской гимназии. В 1819 году выпущен прапорщиком в Полоцкий пехотный полк.

Фирсов Николай Николаевич (1839 — после 1914) — в 1853–1858 годах обучался в Михайловском артиллерийском училище, в 1860 году окончил Михайловскую артиллерийскую академию, но в армии почти не служил. С 1861 по 1870 год был предводителем дворянства Белозерского уезда Новгородской губернии, затем постоянно жил в Италии. Под псевдонимом «Л. Рускин» публиковал в русской печати корреспонденции, очерки, фельетоны, рассказы и переводы.

Краткие сведения о военно-учебных заведениях

Александровский малолетний Царскосельский кадетский корпус — первый из корпусов подобного типа. Создан в 1829 году по указу Николая I для подготовки сирот-дворян и сыновей офицеров к поступлению в петербургские кадетские корпуса, как сухопутные, так и в Морской. В этой связи во всех них тогда же были закрыты собственные малолетние отделения. В Царскосельском корпусе кадеты находились до 10-летнего возраста под надзором классных дам-надзирательниц. Упразднен в 1862 году. Из воспитанников корпуса вышло немало знаменитых людей, в том числе выдающийся художник-баталист В. В. Верещагин и начальник Главного штаба русской армии в 1881–1897 годах Н. Н. Обручев.

Александровское военное училище — образовано в 1863 году по указу Александра II под названием Московского Александровского училища на основе упраздненного тогда же Александринского сиротского кадетского корпуса, существовавшего с 1831 года. В царствование Александра III имело приставку «Третье». В октябрьские дни 1917 года стало центром сопротивления новой власти, именно здесь впервые прозвучали слова «Белая гвардия». В училище получили военное образование генерал-лейтенант Н. Н. Духонин, исполнявший обязанности верховного главнокомандующего русской армией в ноябре — декабре 1917 года, и генерал от инфантерии Н. Н. Юденич, ставший одним из лидеров белого движения.

Военно-сиротский корпус — создан в 1798 году Павлом I в Санкт-Петербурге из Дома военного воспитания, учрежденного за год до этого на основе Гатчинского сиротского дома. Первоначально делился на благородное (для дворян) и солдатское отделения, в которых воспитывались сироты обоего пола. Мальчики благородного отделения назывались кадетами, обучались по сокращенной программе кадетских корпусов и выпускались офицерами в армию. В 1805 году солдатское отделение было закрыто, на следующий год отделены девочки. В 1829 году переустроен в полноценный Павловский кадетский корпус. Упразднен в 1863 году, с организацией на основе его специальных классов 1-го Павловского военного училища.

Второй Санкт-Петербургский кадетский корпус — образован в 1762 году по указу Екатерины II под названием Артиллерийского и инженерного шляхетного кадетского корпуса. Преемник объединенных четырьмя года ранее Инженерной и Артиллерийской школ, основанных в 1712 году Петром I для пополнения артиллерии и инженерных частей русской армии сведущими офицерами. С 1800 года — 2-й кадетский корпус, из которого офицеры выпускались не только в сухопутную, но и морскую артиллерию. Постепенно утратил свой специальный характер. Знаменитыми воспитанниками корпуса были граф А. А. Аракчеев, фельдмаршал М. И. Кутузов, несколько генералов — участников Отечественной войны 1812 года.

Дворянский полк — военно-учебное заведение, образованное в 1807 году по рескрипту Александра I для ускоренного выпуска офицеров всех родов сухопутных войск, включая кавалерию, в связи со значительно возросшей их потребностью во время

наполеоновских войн. Первоначально существовал при 2-м Санкт-Петербургском кадетском корпусе под названием Волонтерного корпуса, с 1808 года — Дворянского полка. С 1833 года его основной целью было довершение образования кадет губернских корпусов, выпуск в офицеры из которых не производились. Воспитанники, неспособные к военной службе, выпускались с низшим гражданским чином XIV класса по Табели о рангах. В 1855 году преобразован в Константиновский кадетский корпус.

Михайловский Воронежский кадетский корпус — предполагался к открытию еще в 1805 году, но окончательно учрежден в 1836 году Николаем I в соответствии с «предположением о губернских кадетских корпусах» (1830) и после того, как местный помещик генерал-майор Н. Д. Чертков пожертвовал на его создание 1,5 миллиона рублей ассигнациями и 1000 душ крепостных. Открыт в 1845 году. Назван по имени великого князя Михаила Павловича, в то время начальника всех военно-учебных заведений. Известными выпускниками корпуса были крупнейший дореволюционный журналист и издатель А. С. Суворин, конструктор трехлинейной винтовки генерал-майор С. И. Мосин, изобретатель лампы накаливания электротехник А. Н. Лодыгин.

Михайловское артиллерийское училище — создано в 1820 году в Санкт-Петербурге по указу Александра I при Учебной артиллерийской бригаде под названием Артиллерийское училище, в связи с утратой 2-м Санкт-Петербургским кадетским корпусом специального характера. С 1834 года — самостоятельное учебное заведение. В 1849 году получило дополнительную приставку «Михайловское» в честь великого князя Михаила Павловича, основателя

Учебной артиллерийской бригады и бывшего начальника всех военно-учебных заведений. В 1855 году офицерские классы были преобразованы в Михайловскую артиллерийскую академию. Помимо множества известных военных, воспитанником училища был знаменитый скульптор П. К. Клодт.

Морской кадетский корпус — старейшее военно-учебное заведение в России, ведущее свою историю от московской Школы математических и навигацких наук, основанной Петром I в 1701 году. В Санкт-Петербург воспитанники старшей ступени были переведены в 1715 году как первый набор Академии морской гвардии. С этого времени часть Навигацкой школы, остававшаяся в Москве, фактически служила для нее подготовительным математическим классом. В 1752 году указом Елизаветы Петровны взамен школы и академии был организован единый Морской кадетский корпус, воспитанники младших классов которого стали называться кадетами, старших — гардемаринами. В числе его выпускников — все знаменитые российские флотоводцы.

Новгородский кадетский корпус — первый среди губернских кадетских корпусов. Открыт в 1834 году по указу Николая I под названием Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса, поскольку, как местный помещик, он внес 300 тысяч рублей на его устройство. Располагался в глухой местности в бывших помещениях штаба 4-го округа пахотных солдат (военных поселений) на берегу реки Меты в 28 верстах к востоку от Новгорода и в 8 верстах от селения Бронницы на Московском тракте. Первоначально воспитанников старшего возраста отправляли доучиваться в Дворянский полк. Первый офицерский выпуск собственно в корпусе состоялся в 1859 году, а уже в

1866 году он был переведен в Нижний Новгород и соответственно переименован.

Орловский кадетский корпус — учрежден в 1835 году Николаем I в соответствии с «предположением о губернских кадетских корпусах» (1830), но после того, как местный помещик, отставной полковник М. П. Бахтин пожертвовал на его обзаведение 1,5 миллиона рублей ассигнациями и родовое имение числом 1469 душ крепостных. Открыт в 1843 году под названием Орловского Бахтина кадетского корпуса. С 1844 года его неранжированную роту составлял Александровский тульский малолетний кадетский корпус. Среди наиболее отличившихся воспитанников Орловского корпуса был генерал-лейтенант В. Г. Золотарев, начальник Главного управления казачьих войск в 1882–1891 годах.

Пажеский корпус — основан в 1759 году в Санкт-Петербурге по указу Елизаветы Петровны как привилегированное учреждение для воспитания пажей и камер-пажей для придворной службы. В 1802 году реорганизован по типу кадетских корпусов, но с другими военно-учебными заведениями объединен не был. Перед приемом будущие воспитанники по-прежнему продолжали зачисляться в пажи императорского двора и в дальнейшем несли придворную службу. Преимущественным правом поступления в корпус пользовались сыновья и внуки «особ первых трех классов», то есть высших военачальников и гражданских чиновников. Выпускники корпуса поступали офицерами, как правило, в гвардию.

Первое Павловское военное училище — образовано в 1863 году в Санкт-Петербурге по указу Александра II на основе специальных классов

упраздненного тогда же Павловского кадетского (бывшего Военно-сиротского) корпуса. На обучение принимались, как правило, выпускники кадетских корпусов, хотя по условиям приема сюда могли поступать и молодые люди с аттестатом об окончании полного курса других средних учебных заведений. Воспитанники выпускались офицерами в армейскую пехоту, признанные негодными к военной службе — в гражданскую службу с чином XII класса по Табели о рангах. Известными выпускниками училища являются поэт Н. А. Клюев и писатель М. М. Зощенко.

Первый Московский кадетский корпус — образован в 1824 году из переведенного в Москву по указу Александра I Смоленского кадетского корпуса (основанного в 1778 году как Шкловское благородное училище). Первоначально назывался Московским кадетским корпусом, с 1830 года имел в своей структуре малолетнее отделение. С 1838 года, после утверждения Николаем I проекта еще одного московского среднего военно-учебного заведения, корпус получил дополнительную приставку «Первый». Изначально готовил армейских офицеров, с 1863 года — юнкеров для дальнейшего образования в военных училищах. Среди прочих воспитанником корпуса был маршал М. Н. Тухачевский.

Первый Санкт-Петербургский кадетский корпус — учрежден по указу Анны Иоанновны в 1731 году под названием Корпуса кадет. В XVIII веке, из-за почти полного отсутствия в России высших учебных заведений, имел задачей готовить молодых людей не только к военной, но и к гражданской службе, кроме того, при нем существовали Общество любителей российской словесности и один из первых русских любительских театров. После учреждения в 1752 году

Морского кадетского корпуса получил название Сухопутного шляхетного, с 1800 года — 1-го Санкт-Петербургского. В числе воспитанников корпуса были многие выдающиеся государственные деятели и военачальники, представители русской науки и культуры.

Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров — учреждена в 1823 году в Санкт-Петербурге приказом Александра I для обучения молодых дворян, поступавших в гвардию из университетов или частных пансионов и не имевших военного образования и подготовки. Впоследствии в училище принимались наиболее успешные выпускники кадетских корпусов. Воспитанники школы, среди которых преобладала аристократическая молодежь, отличались широким общим и военным кругозором. В 1859 году в связи с упразднением звания подпрапорщика переименована в Николаевское училище гвардейских юнкеров. Самыми знаменитыми выпускниками школы были поэт М. Ю. Лермонтов и композитор М. П. Мусоргский.

Словарь военных терминов, редких и устаревших слов

Бивак — расположение войск на отдых вне населенных пунктов.

Вестовой — рядовой, назначавшийся для выполнения служебных поручений офицера.

Вицмундир — полупарадная одежда чиновника, укороченный фрак из цветного сукна с гербовыми пуговицами.

Габерсуп — овсяный суп (от нем. Hafer — овес), одно из дежурных блюд в российской армии и на флоте до революции.

Гофмейстер — управляющий дворцовым хозяйством и штатом придворных.

Гренадерская рота — старшая рота российских военно-учебных заведений.

Дек — навесная палуба на корабле.

Дортуар — общая спальня (от фр. dortoir — спальня) для воспитанников закрытых учебных заведений в России до революции.

Инспектор классов — помощник директора военно-учебного заведения, в обязанности которого входило непосредственное наблюдение за учебными занятиями.

Камера — то же, что дортуар.

Кампания (морская) — поход в море, в мирное или военное время, в течение шести месяцев подряд.

Кантонисты — солдатские сыновья, числившиеся со дня рождения за военным ведомством на основе крепостного права.

Капор — женский головной убор, представлявший собой высокую шляпную тулью, суживающую к затылку, с лентами, завязывавшимися под подбородком.

Каптенармус — должностное лицо в роте, ведающее получением, учетом, хранением и выдачей одежды, оружия, снаряжения и другого имущества, которое находилось в ротной кладовой.

Карабинеры — отборные стрелки в пехоте и кавалерии.

Кивер — военный форменный высокий головной убор с плоским верхом, одним или двумя козырьками и подбородочным ремнем.

Кинкеты — масляные лампы особой системы, названные по имени их изобретателя, парижского аптекаря Антуана Кинкета (1745–1803).

Кондуктор — младшее унтер-офицерское звание, присваивавшееся воспитанникам Инженерного училища по аналогии с армией, где его носили чертежники и художники инженерных управлений.

«Красненькая» бумажка — десять рублей (по цвету ассигнации).

Крюйт-камера — специальное помещение для хранения боеприпасов и порохов на парусном корабле.

Лихач — извозчик на резвых лошадях с хорошей упряжью и в щегольском экипаже.

Люгер — небольшое трехмачтовое парусное судно.

Неранжированная (резервная) рота — младшая рота военно-учебного заведения.

Ординарец — офицер, унтер-офицер или рядовой, выделенный от воинской части в распоряжение командующего или начальника штаба для выполнения их поручений.

Пещись — заботиться, хлопотать.

Портупей-юнкер — звание, присваивавшееся за отличие юнкерам, уже имевшим чин унтер-офицера или фельдфебеля.

Развод — смотр, проводимый перед началом несения караульной службы.

Рекреация — перемена в учебном заведении, которая проводилась воспитанниками в особо выделенном для этого помещении, а также синоним самого понятия «отдых».

Реноме (от фр. renommée) — закрепившееся определенное мнение о человеке, группе людей или заведении вообще.

Салоп — верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезами для рук или с небольшими рукавами, скреплявшаяся лентами или шнурами.

«Синенькая» бумажка — пять рублей (по цвету ассигнации).

Скорбут (от лат. scorbutus) — цинга.

Султан — пучок перьев или стоячих конских волос — украшение на воинском головном уборе; обычно надевался только на смотрах, парадах и в иных торжественных случаях.

Тесак — рубящее или колющее холодное оружие, состоящее из короткого широкого клинка и рукоятки с крестовиной или дужкой.

Торжественные дни — праздники, связанные с членами российской императорской фамилии (рождение, тезоименитство, восшествие на престол, коронование), а также главные церковные праздники.

Фуражировка — заготовка продовольствия, фуража, топлива и т. д. специально выделенными для этого отрядами в военное время.

Цейхгауз — помещение для хранения запасов оружия, боеприпасов, обмундирования, снаряжения, продовольствия и проч.

Экзерциргауз — крытое помещение для военных упражнений в холодную и ненастную погоду.

Экзерциция — строевое и тактическое обучение войск.

Эконом — заведующий хозяйством, прежде всего кухней, в закрытых учебных заведениях в России до революции.

Экстренные кандидаты — претенденты вне общего правила, которые зачислялись воспитанниками в военно-учебные заведения по особому высочайшему повелению на первую же вакансию.

notes

Примечания

Воспоминания написаны Н. В. Вохиным в 1852 г. —
Примеч. ред. «Русской старины».

Речь идет о боевых действиях на Балтике во время Русско-шведской войны 1808–1809 гг. — *Примеч. сост.*

Рамбов — обиходное название города Ораниенбаума под Петербургом. — *Примеч. сост.*

4

Оставайтесь, мой милый, ведь слишком холодно
(фр.).

В то время место заключения кадет называлось не карцером, а тюрьмой. — *Примеч. К. Зенденгорста.*

Кадеты малолетнего отделения, при переводе их, поступали в резервную роту, но по ходатайству наших камерных дам, для поощрения прочих воспитанников, в 1818 и 1819 гг. четырнадцать кадет поступили прямо в гренадерскую роту. — *Примеч. К. Зенденгорста.*

При таких обстоятельствах не удивительно, что на другой же день после наводнения некоторые из кадет, по чувству сыновней их любви, решались уходить ночью из корпуса, дабы проведать родных и узнать о их положении после наводнения. — *Примеч. К. Зенденгорста.*

«Единорог» — особый вид гладкоствольной гаубицы для стрельбы настильным (под малыми углами) и навесным огнем. Разработан в 1757–1759 гг. группой артиллерийских офицеров под руководством графа П. И. Шувалова. — *Примеч. сост.*

9

Положение обязывает (*фр.*).

Дело чести (*фр.*).

В действительности А. И. Маркевич управлял
Дворянским полком с 1812 по 1831 г. — *Примеч. сост.*

Zeemann, с голландского, назывались со времени Петра лучшие знатоки математики и морских наук, и заслужить это название от товарищей считалось выше получения всякого диплома <...>. — *Примеч. Д. Завалишина.*

Дело чести (*фр.*).

Прекрасно, мой милый; вы приняты в кадеты (*фр.*).

Бобров очень любил кадет, несмотря на то, что сам был бездетен, потому что никогда не был женат. Он кормил втихомолку арестованных или оставляемых без обеда, приказывал переменять платье и сапоги рвавшим таковые во время игр и шалостей. Но проявление самой высокой доброты Андрея Петровича высказывалось на кадетях, выпускаемых из корпуса по слабости здоровья или по другим причинам не офицерами, а гражданскими чинами, и которые, не имея родственников, не знали, где преклонить голову и чем питаться. Таким бесприютным воспитанникам до приискания ими места он давал приют у себя на квартире, кормил и содержал их на свой счет. Бобров умер в 1836 г. — *Примеч. М. Ольшевского.*

Под «картофелем в мундирах» на кадетском языке разумелся отварной картофель с кожей. — *Примеч. М. Ольшевского.*

Говели кадеты поротно. На каждую роту определялось по три дня. Говеющие кадеты в классы не ходили. — *Примеч. М. Ольшевского.*

Петергофский кадетский лагерь составляли 1-й, 2-й и Павловский корпуса, сводный батальон из пеших юнкеров Школы гвардейских подпрапорщиков, воспитанников Пажеского корпуса и кондукторов Инженерного училища и два батальона Дворянского полка. Для линейного учения эти шесть батальонов делились на два полка. Сверх того в состав кадетского отряда входили: дивизион кавалерии, состоявший из Школы гвардейских подпрапорщиков, и дивизион орудий юнкеров Артиллерийского училища. — *Примеч. М. Ольшевского.*

Кадеты выпускались в офицеры по окончании экзамена в конце апреля или в мае. Годовые, переводные или выпускные экзамены начинались обыкновенно в марте и более месяца продолжались. Несмотря на такой короткий срок, экзамены производились основательно: 1) потому что они производились одновременно несколькими комиссиями, состоявшими из преподавателей тех классов, в которых не было экзаменов, ратных командиров и дежурных офицеров, и 2) по той простой причине, что они производились без перерыва или отдыха на приготовление, <...> притом иные экзамены продолжались по утрам до обеда, а по вечерам до ужина. Директор корпуса и инспектор классов избирали экзаменуемые классы по своему усмотрению и по важности предмета. — *Примеч. М. Ольшевского.*

Направо или налево (*фр.*).

15 марта 1834 г. — день официального открытия Новгородского кадетского корпуса в присутствии великого князя Михаила Павловича и графа А. А. Аракчеева. — *Примеч. сост.*

Так называемые камеры, служившие нам и спальнями, и местом приготовления уроков, были длинные залы, к внутренней и наружной стенам которых были приставлены кровати (или, как мы их называли, — койки) с обозначением фамилий спавших на них воспитанников; подле каждой койки стоял столик с шкафом и табурет. Таких камер было по две в роте и в эскадроне (последний помещался в верхнем этаже); в каждой из них помещалось по четыре отделения, под наблюдением своих унтер — офицеров; подле камеры, занимаемой старшими отделениями, находилась комната дежурного офицера. — *Примеч. И. Ореуса.*

Козлами отпущения (*фр.*).

Заряжание на 12 темпов: 1) к заряду! 2) чехлы долой! открой полки! 3) вынь патрон! 4) скуси патрон! 5) насыпь! 6) закрой полки! 7) обороти ружье! 8) патрон надуло! 9) за шомпол! 10) бей! 11) шомпол в ложе! 12) на плечо! — *Примеч. И. Ореуса.*

Я пишу о том, что было в роте; в эскадроне же, конечно, главную роль играла верховая езда. — *Примеч. И. Ореуса.*

М. Ю. Лермонтов учился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в 1832–1834 гг. — *Примеч. сост.*

Кошачьей тоской (*нем.*).

Приятной праздностью *(ит.)*.

Ропша — дворцово-парковый ансамбль на полпути между Петергофом и Царским Селом. — *Примеч. сост.*

Ежемесячный «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений» выходил в 1836–1836 гг. —
Примеч. сост.

Михаил Матвеевич Херасков (1733-1807) — поэт, писатель, издатель журналов, государственный деятель. Происходил из валахского боярского рода Хераско. Отец умер почти сразу же после рождения Михаила, а отчим, князь Н. Ю. Трубецкой, служил генерал-прокурором. В 1743-1751 гг. М. М. Херасков обучался в Сухопутном шляхетском (впоследствии 1-м кадетском) корпусе в Санкт-Петербурге. — *Примеч. сост.*

В конце 1850-х гг. все такие забавы дозволялись и поощрялись начальством, а до 1855 г. строго преследовались. — *Примеч. Н. Фирсова.*

«Свобода, равенство, братство» (*фр.*) — лозунг Великой французской революции. — *Примеч. сост.*

Ранее Первый Санкт-Петербургский кадетский корпус. — *Примеч. сост.*

Неразлучные (*фр.*).

Приятной праздности *(ит.)*.